

Фаррар Ф.



# ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ

ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

История в романах

Фредерик Фаррар

**От тьмы к свету**

«Алгоритм»

УДК 821.111  
ББК 84(4Вл)

**Фаррар Ф. В.**

От тьмы к свету / Ф. В. Фаррар — «Алгоритм», — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03951-5

Фредерик Вильям Фаррар (1831–1903) – английский писатель-богослов, проповедник, профессор Кембриджа, декан Кентерберийский, доктор богословия, член королевского общества, архидиакон и каноник вестминстерский и ординарный капеллан королевы английской; автор книг «Жизнь Иисуса Христа», «Жизнь и труды апостола Павла», «Первые дни христианства». В данном томе публикуется роман «От тьмы к свету», посвященный главному событию всемирной истории – пришествию Иисуса Христа, а также возникновению христианства, гонениям на первых учеников Спасителя. Книга переносит читателя к началу нашей эры, показывая Римскую империю и Иудею, в недрах которых зарождалось новое учение, изменившее судьбы мира.

УДК 821.111

ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-03951-5

© Фаррар Ф. В.

© Алгоритм

## Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	6
Глава III	8
Глава IV	12
Глава V	15
Глава VI	19
Глава VII	23
Глава VIII	26
Глава IX	29
Глава X	34
Глава XI	37
Глава XII	40
Глава XIII	45
Глава XIV	49
Глава XV	53
Глава XVI	56
Глава XVII	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# Фредерик Фаррар

## От тьмы к свету

### Часть первая

### Клофо прядет пряжу

#### Глава I

Дворец римских императоров окружали сады с причудливыми фонтанами. Возрастая и увеличиваясь вместе с властью самих императоров, дворец по своему великолепию и величине первенствовал в Риме.

Его стены помнили многое. Здесь, при Августе, императрица Ливия убирала всех, кто мешал ее сыну сесть на престол. Тут неистовал безумный Калигула, подвергая даже сенаторов бесчеловечным пыткам, пока сам не пал от руки одного из трибунов.

Иногда казалось, что какой-то дух поселился в этих пышных залах, что тени убитых бродят здесь днем и ночью, призывая ко мщению. Многие слышали, как в длинных коридорах в полуночной тьме раздаются мерные и тяжелые шаги выходцев с того света, а из-за колонн слышатся плач, рыдания, раздражающие стоны.

Но у императрицы Агриппины, возлежащей сейчас на длинной столе, были крепкие нервы. Ей нравилось тут, во дворце, ей был приятен этот теплый сентябрьский вечер.

Мир был у ее ног. Храбрый Германик, ее отец, строгая в своей добродетели Агриппина-старшая, ее мать, были любимы римским народом и войском. Правнучка по матери императора Августа, внучка победоносного полководца Агриппы, внучатая племянница императора Тиверия, родная сестра императора Гая Калигулы, она сумела стать шестой супругой царствующего императора Клавдия, ее собственного дяди. Ее заветной мечтой было, чтобы ненаглядный сын – она ласково называла его Неро – тоже вступил на престол цезарей, и тогда она могла бы еще долго управлять Римом, как управляет им сейчас, при старом и больном Клавдии. Почетный титул Августы императрицы получали только после смерти своих мужей, Агриппина же получила его от сената сразу после замужества. Она сидела в тронном зале возле мужа, когда шел прием чужеземных послов. Ей одной из римлянок принадлежало право въезжать на колеснице в священный Капитолий.

Да, весь мир был у ее ног. Двор был на ее стороне, и если Агриппине не удалось подкупить секретаря императора Нарцисса, то ей удалось привлечь Палласа, более влиятельного во дворце. За нее стоял народ, видя в ней единственную из потомков любимого римлянами полководца. На стороне Агриппины была римская интеллигенция, потому что она вернула из ссылки Сенеку и сделала его воспитателем своего сына. Храбрый Бурр, начальник преторианцев, получил свою должность только благодаря Агриппине.

Тридцать семь лет исполнилось Агриппине, и она была еще красива и царственно величава.

И сейчас, отдыхая от дневных забот, императрица полулежала в низком кресле с широкой откидной спинкой, украшенном богатой позолотой и дорогой резьбой из слоновой кости.



## Глава II

В коридоре послышался звучный молодой голос, портьера раздвинулась, и перед Агриппиной появился юноша лет шестнадцати – свежий, румяный, не слишком высокого роста, но замечательно красивого сложения.

– Ах, это ты, Неро! – воскликнула не без изумления его мать. – Я предполагала, ты все еще в триклиниуме<sup>1</sup>. Император, проснувшись, может заметить твоё отсутствие.

– Не бойся, – ответил, смеясь, Нерон. – Император уже храпит на своем ложе, а гости с усилием сдерживают зевоту. Беднягам придется сидеть там до полуночи, а то и позже, если только Нарцисс не догадается отпустить их. Он совершенно пьян, это полубожество.

– Замолчи! – строго прикрикнула Агриппина на сына. – Такое ребяческое легкомыслие неуместно. Ты можешь насмеяться над чем тебе угодно, но над величием императорской власти никогда, не только с глазу на глаз со мной, но даже наедине с самим собой. Кроме того, не забывай, что во дворце стены слышат. А Октавию ты оставил за столом?

– Да.

– Какая неосторожность! – сказала Агриппина. – Ты ведь знаешь, как я всегда стараюсь, чтобы она виделась с отцом не иначе, как в нашем присутствии. У Клавдия винные пары проходят иногда очень быстро, и после нескольких минут сна он может рассуждать и говорить совершенно здраво. А Британник был в триклиниуме, когда оттуда ты ушел?

– Британник? – изумился Нерон. – Разумеется, нет. Мне кажется, ты приложила немало стараний, чтобы место его постоянно оставалось на заднем плане. По древнему обычаю, который недавно возобновил император, он сидел за обедом, как ты сама видела, на ложе, в ногах у своего отца. Но мальчики давно уже были высланы из триклиниума вместе со своими педагогами, и – насколько я знаю, – Британника уложили спать.

– А для кого, скажи, неблагодарный, принимаю я все эти меры предосторожности? – спросила Агриппина. – Разве не ради тебя, не ради того, чтобы ты мог облачиться в порфиру и господствовать над народами?

«Ради меня, да и ради себя тоже» – подумал Нерон, но ничего не сказал; не умея пока еще скрывать своих мыслей от зоркого взгляда матери, он нагнулся, чтобы скрыть улыбку, и поцеловал ее в щеку, говоря:

– Лучшая из матерей!

– Лучшая из матерей! Да, но надолго ли? – проговорила Агриппина. – И когда я тебя возведу на престол, ты, пожалуй...

Она не досказала. Ей вспомнилось страшное предсказание о нем халдеев, которое она до сих пор старательно скрывала от сына. «Он будет императором и убьет свою мать». «Пусть убьет, лишь бы был императором», – об этом ответе Нерон тоже ничего не знал.

– Неро, я жду к себе Палласа, с которым мне необходимо поговорить об одном чрезвычайно важном деле. А потому, мой мальчик, отправляйся в триклиниум, будь всегда на страже и следи зорко за всем, что происходит.

– Хорошо, так и быть, я вернусь туда, – сказал Нерон, – но знаешь, матушка, у меня иногда является желание, чтобы все это было уже кончено. Я очень жалею, что меня заставили жениться на Октавии; я никогда не буду любить ее. Мне бы хотелось...

Юноша остановился и вспыхнул, почувствовав на себе орлиный взгляд матери, и понял, что чуть было не поведал ей тайну своей любви к Актее, молодой отпущеннице в свите его жены.

---

<sup>1</sup> Зал для пиршеств.

– Ну, что же? – подозрительно проговорила Агриппина, но вместе с тем была она очень довольна, заметив, как сильно трусит перед ее властным взглядом ее сын. – Продолжай же!

– Да я ничего особенного не хотел сказать, – запинаясь, прошептал он, все еще смущенный, – разве только то, что перспектива быть императором временами вовсе не соблазняет меня. Подумай сама: Юлий был убит; Август, как говорят, умер от отравы; Тиверия задушили; мой дядя, Гай Калигула, был пронзен несколькими ударами. Большого счастья в том, чтобы сделаться императором, нет, – слишком уж часто сквозь порфиру пролагает себе дорогу кинжал убийцы.

– Стыдись говорить так! – сказала Агриппина. – Неужели власть пустяки? Разве ты позабыл, что ты внук Германика и что в твоих жилах течет кровь не одного только Домиция, но и цезарей? Стыдись! Стыдись!

– Прости меня, матушка; ты права, – сказал юноша, – ты всегда умеешь заставить всех думать по-твоему. Но я слышу в соседней комнате шаги Палласа и ухожу.

Нерон наклонился и поцеловал мать; едва только он скрылся за занавесью, в комнату вошел один из рабов и доложил, что Паллас ждет приказа явиться перед императрицей.

## Глава III

Между тем осенние сумерки заметно сгустились: в зале, освещенной слабо мерцавшим светом одинокой лампы, царил приятный полусвет, когда в нее вошел Паллас. Но сегодня этот могущественный временщик того времени и ближайший друг Агриппины был сумрачен и, видимо, чем-то сильно озабочен. Что-то зловещее носилось в воздухе: в народе шел слух о появлении свиньи с ястребиными когтями вместо копыт; толковали с затаенным страхом о рое пчел, не так давно привившихся на вершине Капитолия; о шатрах и знаменах, спаленных в лагере молнией. Наконец, в этом году в какие-нибудь два-три месяца, один за другим, сошли в могилу квестор, эдил, трибун, претор и консул. Но суеверие было чуждо Агриппине, и она внимала этим рассказам отпущенника с усмешкой презрительного равнодушия. Однако ж не так отнеслась она к сообщениям Палласа, когда он передал ей, что за последнее время часто и во всеуслышание говорил отпущенник Нарцисс – другой из сильных временщиков при дворе Клавдия. Все равно – говорил он – будет ли императором после смерти Клавдия родной его сын Британник, или приемный Нерон, – одинаково печальная судьба ждет его. Британник отомстит ему за участь своей матери Мессалины, низвержению и смерти которой он так много содействовал; Нерон же выместит на нем злобу за его возмущение против брака Агриппины с Клавдием. Вместе с тем Нарцисс, всецело преданный императору, заботился об интересах Британника, – родного сына этого императора. Он любил юношу, оберегал его и не раз громко молил богов скорее послать Британнику и крепость, и силу мужа для низвержения врагов отца, хотя бы вместе с этим и на него обрушился гнев сына за смерть матери.

Затем немало встревоженный императрицей Паллас сообщил, что и сам Клавдий часто проявлял за последнее время какую-то особенную нежность как к Британнику, так и к дочери Октавии: прижимал их к своему сердцу, печалился о наносимых им обидах и при этом всегда уверял, что никогда не будут они вытеснены из его сердца никакими происками коварного сына этого шалопая, Домиция Агенобарба. Но это было еще не все, и Агриппина положительно пришла в ужас, услышав от своего верного клеветника, что, опьянев, император не далее как сегодня за ужином несвязно пробормотал, «что более чем подозревает те коварные замыслы, что таит в душе его жена; но что такова всегда была его участь – сначала молча до поры до времени выносить гнусное поведение своих супругов, но зато потом разом отплатить им сторицей за все».

При этих словах Агриппина, словно ужаленная, поднялась с своего ложа. Лицо ее, дыша злобой и негодованием, горело.

– Жалкий глупец! Несчастный пьяница-идиот! – воскликнула она. – И он так смеет говорить обо мне! Нет, Паллас, больше нам нельзя медлить: время настало, и мы должны действовать. А между тем, пока Нарцисс остается подле него, каждый решительный шаг с моей стороны сопряжен с величайшей для меня опасностью: он предан душой Клавдию; подкупить его нет возможности, и он бодрствует над ним, как верная собака.

– Правда, но ведь он весь искалечен подагрой, – заметил Паллас, – его страдания превышают его силы, и долго выдержать такие муки ему не хватит сил. Я уже передавал ему ваш совет попробовать лечение серными ваннами в Синуэссе, и почти уверен, что он не замедлит последовать ему и, самое большее, недели через две подаст прошение об отпуске; настоящая жизнь его – одно мученье.

– Хорошо! – проговорила Агриппина и, немного погодя, прибавила, понизив голос до шепота и глядя прямо в глаза отпущеннику: – Клавдий должен умереть!..

– Говорите громко, Августа, – сказал Паллас. – Здесь вблизи нет никого из ваших прислужниц или рабов. Прежде чем сюда войти, я поставил в проходе одного из моих собственных



прислужников с приказанием мешать под страхом смерти кому бы то ни было близко подходить к дверям вашей комнаты.

– И вы осмелились дать такого рода приказание? – спросила Агриппина, изумленная наглостью отпущенника.

– Да, но, конечно, не словами, – с надменностью ответил временщик. – Не стану же я снисходить до словесных объяснений с каким-либо из моих рабов или даже отпущенником – я – потомок Евандра и древнейших царей Аркадии, хотя и нахожусь в числе слуг цезаря. Достаточно одного моего взгляда, одного движения моей руки, чтобы приказания мои исполнялись в точности. Я горжусь, как сказал и сенату в ответ на его предложение подарить мне четыре миллиона сестерций, горжусь тем, что даже и на службе у императора остаюсь все таким же бедняком, каким был и прежде.

– «О наглый лжец! – думала Агриппина, слушая Палласа. – И это он говорит мне, которой известно не менее, чем ему самому, его происхождение и то, что он был не более, как простым рабом у Антонии – матери императора; он смеет гордиться своей мнимой бедностью, да еще в моем присутствии, и притом зная, что для меня вовсе не тайна, что своими грабежами он в каких-нибудь четырнадцать лет скопил себе целых шестьдесят миллионов сестерций».

Несмотря на это, Агриппина поспешила скрыть от своего сообщника презрительную усмешку, появившуюся было на ее красивых губах, и шепотом сказала еще раз:

– Клавдий должен умереть!

– Замысел опасный, – заметил внушительно отпущенник.

– Нет, если только мы сумеем как следует скрыть его от глаз света, – возразила императрица. – А кто осмелится говорить о том, на что малейший намек равносителен смерти?

– Вы должны, однако, помнить, что если вы дочь незабвенного Германика, то и император его брат, и войско никогда не согласится поднять оружие против него, – сказал Паллас.

– Я не думаю обращаться к содействию преторианцев, – отвечала Агриппина. – Есть иные средства: под этим дворцом, в его подземных казематах, заключена одна особа, которая будет мне пособницей в этом деле.

– Локуста! – понизив в свою очередь голос до шепота, проговорил Паллас с невольным содроганием. – Но у императора есть свой *praegustator*, на обязанности которого лежит отве-  
дывать от каждого блюда, от каждого кубка, поданного цезарю.

– Знаю! Должность эту занимает евнух Галот, – сказала Агриппина. – Но его подкупить нетрудно, и мне он не посмеет противоречить.

– Но у Клавдия есть и свой врач.

– Знаю: знаменитый Ксенофонт, – улыбаясь многозначительно, сказала Агриппина.

Паллас, пораженный не то ужасом, не то удивлением, молча возвел руки кверху. Смолodu лишенный всяких принципов нравственности, он, однако, ни разу еще не обагрil своих рук в крови. Обдуманная преступность Агриппины и ее хладнокровие невольно его привели в трепет: не безопаснее ли было бы ему последовать примеру Нарцисса и оставаться верным своему государю? Долго ли еще будет он человеком, нужным императрице для ее целей? И какая постигнет его участь, когда она с сыном более не будет нуждаться в его содействии?

Заметив тревожные думы отпущенника по выражению его лица, Агриппина поспешила его мыслям дать другое направление.

– Клавдий, верно, все еще в триклиниуме за вином, – сказала она. – Пойдемте к нему. Ацеррония, дежурная дама моей свиты, пойдет за нами.

– Нет, императора уже давно унесли в спальню, – ответил Паллас. – Но, все равно, если вы желаете его видеть, я готов проводить вас на его половину.

И говоря это, Паллас направился к выходу. За ним последовала императрица в сопровождении своей верной наперсницы Ацерронии. Проходя открытым двором, где был дворцо-

вый караул, из отряда преторианцев, Паллас подошел к центуриону Пуденсу и дал ему пароль на ночь.

– Император почивает, – доложил один из рабов, стоявших на страже у дверей, когда Агриппина вместе с Палласом переступила порог опочивальни императора.

– Хорошо, – сказала императрица, – вы пока можете удалиться. Нам необходимо переговорить с императором о деле, и мы подождем здесь, когда он проснется. Подайте мне светильник и ступайте. Ацеррония подождет нас за дверьми.

Передав Агриппине золотой светильник, стража молча покинула опочивальню. Здесь, среди комнаты, на низком роскошном ложе лежал опьяненный император и храпел. Красный, с опухшим лицом, с седыми волосами, в беспорядке всклокоченными, с венком из лавров, сбитым на лоб, со ртом полуоткрытым, в пурпуровой тоге, безобразно смятой и залитой вином, он менее всего походил на императора.

– Пьяница, кретин! – с невыразимой ненавистью, как во взгляде, так и в голосе, прошипела Агриппина, подойдя к ложу и осветив светильником старческое обезображенное пьянством лицо Клавдия. – Разве не права была его мать Антония, часто величавшая его позором рода человеческого? И удивительно ли, если брат мой Гай позволял себе потешаться над ним, бросая в него за одно с своими гостями косточки олив и фиников, когда он засыпал за столом. Я сама не раз видела, как обмазывали ему лицо виноградным соком и, стащив с его ног сандалии, надевали ему их на руки, чтоб, проснувшись, он ими протер себе глаза. И подумать, что этот презренный человек – властитель полмира, тогда как мог бы быть на престоле римских цезарей такой даровитый юноша, как мой красавец Нерон!

– Но у него много учености и много знания, – заметил Паллас, не без жалости смотря на спавшего Клавдия. – Притом он очень добр и побуждения его всегда бывают хорошие.

– Все это так; но он не рожден, чтоб быть императором, – с жаром возразила Агриппина. – Простая случайность возвела его на высоту престола; и право, нам не из-за чего питать особенно горячую благодарность ни к преторианцу Грату, нашедшему его трусливо укрывавшимся за занавесью в момент умерщвления брата моего Гая, ни тем менее к этому ловкому интригану, еврею, Проду Агриппе, убедившему сенат провозгласить его императором. Он всю свою жизнь прожил шутом и посмешником каждого, кому бы только ни захотелось позаботиться на его счет.

– Но несмотря на все это, он всегда был государем добрым и мягкосердечным, – повторил еще раз отпущенник и, говоря это, тяжело вздохнул.

Агриппина строго взглянула на него.

– Уж не думаете ли вы покинуть меня, перейти на его сторону? – с коварной усмешкой спросила она. – Но не забывайте, что у Нарцисса и по сие время есть в руках письма, способные предать меня той же самой участи, что постигла Мессалину, а вас участи благородного патриция Гая Силия.

– Нет, покинуть вас я не могу, – мрачно ответил ей Паллас, – я слишком далеко зашел. Однако оставаться здесь долее вдвоем опасно как для меня, так и для вас; а потому я удаляюсь.

И Паллас было пошел к двери, но остановился на полдороге и, как-то боязливо взглянув на Агриппину, спросил шепотом:

– Он в безопасности наедине с вами?

– Ступайте! – повелительно молвила императрица. – Не в привычках Агриппины прибегать к кинжалу; к тому же рядом с нами целая толпа рабов, солдат и отпущенников, которые при малейшем крике ворвутся сюда.

Оставшись наедине с Клавдием, Агриппина, зная, что пройдет еще немало времени, прежде чем с цезаря сойдет хмель и он проснется, осторожно сняла с его указательного пальца золотой перстень, украшенный крупным аквамарином, на котором было вырезано изображение орла. Потом, призвав свою верную Ацерронию и покрыв себе лицо и стан широким покрыв-

валом, она приказала ей показать этот перстень центуриону Пуденсу и сказать ему, чтобы он провел их в дворцовые казематы, так как в числе заключенных там находится одно лицо, с которым ей необходимо видаться.

Такое приказание нисколько не удивило Пуденса, который, как и все сколько-нибудь знакомые с придворной жизнью в палатах римских цезарей, знал хорошо, какими черными, а подчас и кровавыми интригами была полна эта жизнь. Молча и беспрекословно повел он обеих женщин к наружной двери подземных казематов и, все так же молча, отпер ее перед ними. Но и здесь в темных коридорах между длинным рядом отдельных камер на каждом шагу стояли рабы и часовые и хотя никто из них не узнал в закутанной посетительнице императрицу, однако достаточно было уже одного взгляда на перстень, чтобы принудить каждого из них почтительно склонить голову, и чтобы открылась перед ними дверь той камеры, где содержалась в заключении знаменитая отравительница того времени Локуста.

Оставив Ацерронию за дверьми, Агриппина вошла одна в эту камеру. Тут сидела у стола, склонив задумчиво при свете простого глиняного ночника голову на руку, та, которая была деятельной участницей в столь многих кровавых преступлениях того времени. Уличенная в участии в различных убийствах, она была приговорена не к смертной казни, которой предавать ее сочли неудобным ввиду ее полезности, а только к тюремному заключению. Кроме того, и склянки и травы, продавая которые она извлекала себе немалые доходы, были оставлены в ее распоряжении.

– Мне нужен яд, но особого рода, – сказала Агриппина, почти не изменяя голоса, – не такой, который разом прекращает жизнь, а также и не такой, который причиняет продолжительную болезнь. Нет, мне нужен такой яд, который способен был бы сперва помутить разум, а затем постепенно довести до смерти.

– Но кто вы такая, чтобы приказывать мне такого рода вещи? – спросила Локуста и, подняв голову, в упор посмотрела на закрытое покрывалом лицо посетительницы. – Не всех снабжаю я отравami. Я не знаю вас: может быть, вы какая-нибудь раба, замыслившая злое дело против нашего государя и повелителя Клавдия? Прибегающие к моему искусству должны щедро оплачивать труды и, кроме того, представить верное обеспечение моей безопасности.

– Не будет ли вот это для вас гарантией? – спросила Агриппина, протягивая к ней перстень.

– Да, этого для меня довольно, – проговорила Локуста, не сомневаясь более, что эта посетительница, как она и подозревала, сама императрица. – Но какая будет мне награда, Авг...

– Договорите – и завтра же умрете вы под пыткой, – прервала ее Агриппина. – Не сомневайтесь: награда будет значительная А пока вот вам. – И она бросила на стол кошелек, полный золотых монет.

Локуста с жадностью схватила кошелек и, взглянув подозрительно на свою посетительницу, дрожащими руками развязала его и пересчитала монеты. Затем, взяв со стола светильник, она молча встала и, подойдя к стоявшему в углу сундуку, открыла его, порылась в нем и, наконец, вынула из его глубины небольшую коробочку с какими-то хлопьями и порошком бледно-желтого цвета.

– Вот то, что вам нужно, – сказала она. – Посыпьте этим порошком любое кушанье: он все-таки не будет замечен. Несколько этих хлопьев в соединении с порошком причинят сперва бред, а вскоре затем и смерть. Средство это уже было испытано.

Агриппина, взяв яд, молча покинула камеру затворницы Ацеррония, ожидая императрицу, стояла у дверей, и Пуденс проводил обеих женщин обратно во дворец, на половину императрицы.

## Глава IV

Прошло две недели. Клавдий, утомленный непрестанными заботами о благополучном процветании империи, делами которой всегда занимался очень добросовестно, а также своими учеными трудами, стал прихварывать и слабеть. Наклонность к вину усиливала болезненное состояние императора. Но ревностный исполнитель обязанностей государя, он долго отклонял совет врачей и своих приближенных отдохнуть. Наконец он решился, уступая настоятельным просьбам императрицы, переехать на время из Рима в Синуэссу, в надежде, что мягкий климат и целебные ключи, которыми славилась эта местность, восстановят силы. Действительно, в тишине уединения, окруженный постоянно нежными заботами Агриппины, он скоро поправился. Дети его были при нем, и Агриппина видела с бешеной ревностью, затаенной в душе, как с каждым днем увеличивалась его нежность к Британнику и к Октавии. Она поняла, что всякое дальнейшее промедление с задуманным грозило ей опасностью. Она стояла на краю страшной бездны: Паллас мог одуматься и, павши в порыве мимолетного раскаяния к ногам императора, раскрыть ему все. Мнительный по натуре, Клавдий всего легче поддавался подзвону. К тому же и Галот, и Ксенофонт, и Локуста, – все трое были уже посвящены, до некоторой степени, в тайну ее замысла. Простая случайность, наконец, или неосторожно сказанное слово, разве не могли выдать ее или погубить? Нет, долее откладывать нельзя, если она желает положить конец томительной неизвестности и вместе с тем счастливо пожать блестящие плоды задуманного преступления.

Еще в Синуэссе думала она привести в исполнение давно намеченный план. Но за последнее время Клавдием вдруг овладело какое-то странное беспокойство: он стал торопиться с отъездом и уже 13 октября вернулся в Рим, уверяя приближенных, что эти немногие дни, проведенные им на чистом деревенском воздухе, окончательно излечили его. Трепеща, как бы кровавый замысел ее не рухнул с приездом Нарцисса, который не сегодня завтра мог возвратиться в Рим, Агриппина решила ускорить дело и немедленно приступила к его исполнению.

Едва прибыв во дворец, по возвращении в Рим, она тотчас распорядилась, чтобы Ацерония привела к ней евнуха Галота, но незаметно для всех.

– Император далеко еще не совсем оправился от своей болезни, – сказала она, когда вошел евнух, человек с молодости и до седых волос состоявший на службе в доме Клавдия. – Appetit его еще плох и нуждается в постоянном возбуждении; прошу вас поэтому позаботиться, чтобы ужин сегодня был приготовлен из блюд наиболее по вкусу государя.

– Грибы болеты любимое кушанье цезаря, – сказал евнух. – И хотя в настоящее время года они величайшая редкость, все-таки мне удалось приобрести небольшое количество этих грибов для стола нашего великого императора.

– Прикажете принести их сюда; я хочу посмотреть на них.

Евнух удалился и через несколько минут вернулся в сопровождении раба, который нес на серебряном блюде грибы, которые поставил перед Агриппиной.

– Я посоветуюсь сейчас насчет этих грибов с Ксенофонтом, который, вероятно, дежурит в соседней зале, и спрошу его, не вредны ли они для цезаря, – сказала Агриппина, и говоря это, захватив блюдо с грибами, прошла в соседнюю комнату, которая оказалась пустой, и где она, не торопясь, насыпала между пор внутренней розоватой поверхности одного из грибов хлопья и желтоватый порошок, приобретенные ею от Локусты. Потом она вернулась в залу, где оставался Галот в ожидании дальнейших приказаний императрицы, и сказала ему:

– Такой гастрономический деликатес, Галот, надо приберечь исключительно для стола императора, и особенно вот этот болет – самый лучший и большой – я предназначаю одному только цезарю. Клавдий будет польщен и тронут моими заботами угодить его вкусу, а вы,

если только я останусь довольной вами, можете отныне смотреть на себя, как на человека свободного.

Евнух молча поклонился, но, когда он вышел за дверь, его старческое, морщинистое лицо искривила недобрая усмешка.

Настал вечер; но к ужину на этот раз было приглашено против обыкновения лишь очень небольшое число наиболее приближенных к цезарю людей. За сигмою, или полукруглым столом, за которым возлежал император, были только, кроме бывшей с ним рядом императрицы, — Октавия, Нерон и Паллас. Немного поодаль, за другим столом, помещались: начальник преторианского лагеря Бурр Афраний и Сенека, наставник Нерона, и еще два-три приглашенных для компании сенатора. Но хотя никто из этих лиц, за исключением Палласа и стоявшего позади императора евнуха Галота, не имел ни малейшего подозрения относительно готовившейся разыгаться в эту ночь драмы, однако все они почему-то находились как бы под гнетом чего-то удручающего: было ли то тяжелое предчувствие или безотчетный страх перед неведомой опасностью, но разговор за ужином в этот вечер как-то не клеился и, несмотря на все старания красноречивого Сенеки оживить его искусной диалектикой, был вял и никого, по-видимому, не интересовал. Да и за столом цезаря замечалось нечто среднее между страхом и ожиданием. Нерон, которому в течение дня Агриппина сделала вскользь два-три неясных намека, сидел понурый и как бы встревоженный. Октавия, в то время девочка лет четырнадцати, как и всегда, робела в присутствии своего мужа Нерона и упорно молчала. Клавдий всецело отдался еде и один за другим выпивал кубки фалернского вина. Одна императрица была очень разговорчива и казалась очень веселой: она шутила, смеялась и не раз принималась благодарить цезаря за то, что он так благоразумно внял ее просьбам и дал себе некоторый отдых, чем восстановил свое здоровье.

— А вот и маленький сюрприз, который я принесла для цезаря, — сказала она. — Мне ведь известно, что эти редкие грибы болеты — любимое кушанье моего императора. Блюдо это приготовлено исключительно для нас одних. Два-три гриба я возьму себе, но все остальные должен съесть император, а особенно вот этот.

И императрица собственноручно положила на тарелку Клавдию злосчастный гриб. Император с жадностью накинудся на лакомое кушанье, благодаря императрицу за внимание. Однако через несколько времени он вдруг стал дико озираться, хотел было что-то сказать, но язык не повиновался ему; тогда он встал из-за стола, но сейчас же пошатнулся и, как сноп, свалился на руки вероломного изменника Галота.

Несчастливого императора поспешили вынести из триклиниума в нимфеум, залу, уставленную редкими растениями, между которыми лились фонтаны в широкий бассейн. Сюда немедленно призвали врача Ксенофонта, который начал с того, что приказал перенести императора в его опочивальню.

Пораженные ужасом, Сенека и Бурр многозначительно переглянулись; но никто из присутствовавших не вымолвил ни слова, и только после того, как Агриппина, подойдя к Палласу, шепнула ему на ухо, чтоб он удалил гостей, этот последний встал и громогласно объявил, что император внезапно заболел, и что хотя опасного, по-видимому, ничего нет, все-таки императрица очень встревожена и, понятно, желала бы всецело отдаться теперь уходу за больным цезарем, ввиду чего гостям всего лучше удалиться.

Император между тем лежал в своей опочивальне, тяжело дыша и в конвульсиях; по временам он впадал в бессознательное состояние, и тогда лежал неподвижно; и затем вновь начинались судороги, сопровождавшиеся предсмертным бредом. Появилось опасение, как бы вино, поглощенное им за столом в изрядном количестве, не парализовало действие яда. Час шел за часом, а император все еще дышал. Тогда Ксенофонт, видевший опасность, обратился к тем немногим посторонним лицам, которые находились в опочивальне цезаря, и под тем предлогом, что больному необходим прежде всего полный покой, попросил их удалиться, а импера-

трицу взять на себя обязанности сиделки. После этого он потребовал, чтобы ему принесли длинное перо, чтобы посредством щекотания горла вызвать рвоту, а с нею и облегчение. Ему принесли длинное перо фламинго, которое предатель, едва раб, принесший перо, скрылся за дверью, смазал быстродействующим ядом и таким образом ввел его в организм цезаря. Действие этого яда было немедленное. Вздувшееся тело императора за секунду приподнялось в последнем предсмертном содрогании – и все было кончено. Клавдия не стало.

Равнодушно и спокойно смотрела Агриппина на страшное зрелище и ни одной слезой, ни одним вздохом не почтила убийца последние минуты жизни своего мужа и дяди.

– А теперь надо будет до времени скрыть от народа и войска смерть императора, – сказала она, обращаясь к Ксенофону. – Оставайтесь здесь, а я пойду и объявлю, что он погрузился в благотворный сон и завтра проснется, вероятно, совершенно здоровый. Не сомневайтесь: щедрые милости посыпятся на вас с воцарением Нерона. Но до того времени еще много дела впереди.

И Агриппина поспешила на свою половину, откуда разослала, несмотря на полуночное время, гонцов в разные концы Рима. Жрецам она послала приказ возносить усердные молитвы всем богам о выздоровлении цезаря; консулам велела немедленно созвать сенат и вместе с тем послала секретную инструкцию, чтобы они, молясь о выздоровлении императора, в то же время были готовы на все. Особые гонцы были отправлены, один к Сенеке, другой к Бурру: первому с приказанием приготовить речь, которую, в случае надобности, мог бы произнести Нерон перед сенатом; второму – с требованием явиться с зарею во дворец и оставаться там в ожидании исхода событий.

В то же время она дала строжайший приказ, чтобы все дворцовые входы и выходы оберегались часовыми и чтобы никого не пропускали ни во дворец ни из дворца без письменного разрешения. А между тем ни Британник, ни Октавия, не имевшие во всем дворце почти никого, кому были бы дороги их интересы, ничего не знали о происшедшем в опочивальне их отца – их единственного защитника. От приставленных же к ним шпионов и предателей им удалось узнать лишь то, что император внезапно занемог после ужина, но что теперь ему уже лучше, и он спокойно спит.

Приняв все нужные для своей цели меры предосторожности и сделав распоряжение, чтобы никого, кроме Палласа, в комнату больного, подле мертвого тела которого оставался Ксенофонт, не впускали, Агриппина удалилась в опочивальню. Но прежде чем лечь, она, пожелав взглянуть на ночное небо, подошла к окну и увидела вдали на горизонте какую-то яркую полосу света. Призвав своего астролога, она спросила его, что это значит. В первую минуту астролог как будто чем-то смутился; но немедленно же поспешил объяснить императрице, что это – комета.

– Не предвещает ли такое знамение какого-нибудь несчастья? – спросила она.

Но такое толкование было не в расчетах хитрого грека, и потому он ответил:

– Нет, такое знамение может предвещать и блестящее начало нового царствования.

Успокоенная этими словами, Агриппина, приказав своей служанке разбудить себя часа через три, легла и скоро заснула сладким сном невинного младенца. Ни страшный кошмар, ни бледные призраки прошлого, ни раздирающие стоны только что отравленного мужа, ни грозные голоса карающих фурий – ничто не потревожило ее сна, и утренняя заря не успела еще заняться на небе, как Агриппина, разодетая в пышный царский наряд, спокойная, раздушенная, вышла из опочивальни, чтобы закончить то, что в течение столь многих лет было главной целью ее ненасытного честолюбия.



## Глава V

Выйдя из опочивальни, Агриппина прежде всего позвала своих астрологов и халдеев-гадателей. Слепо веря в их прорицания, она боялась сделать решительный шаг, не услышав от них подтверждения, что настала минута, благоприятная для затеянного ею переворота. Затем она поспешила в спальню Клавдия, где врач Ксенофонт очень спокойно сторожил бренные останки отравленного им человека. Циник и атеист в душе, он не знал ни страха перед преступлением, ни укоров совести после его совершения, и теперь мечтал лишь о тех богатых дарах, которые достанутся ему в награду за ловкое содействие и молчание.

Войдя в комнату, Агриппина сказала врачу, указывая на покрытое пурпуровым покровом тело Клавдия:

– Обнародовать о его кончине пока еще рано. Благоприятного предзнаменования, по словам халдеев, пока еще нет. Но как устроить, чтобы в продолжение еще нескольких часов скрыть его смерть?

– Асклепиад советует нам, врачам, прибегать к звукам музыки и пения для утешения страданий умирающих, – с плохо скрытой насмешкой отвечал врач, – и ввиду этого императрица поступит очень благоразумно, если прикажет позвать комедиантов и музыкантов и велит им играть и петь в соседней комнате. Доставить развлечение божественному Клавдию они, конечно, уже будут не в силах; но они позабавят по крайней мере меня в одиночестве...

– Но не появилось ли бы в ком-нибудь подозрения, что он уже скончался?

– Нет, Августа, чтобы не дать заметить мертвой тишины, я нарочно сам по временам стонал и покашливал.

Императрицу в первую минуту, казалось, смущала мысль призвать в комнату, по соседству с которой лежал покойник, музыкантов и мимов. Но, понимая, что такая мера могла действительно помочь ей скрыть на время действительность, она решилась последовать совету врача. Но, прежде чем покинуть опочивальню цезаря, она подошла к ложу умершего и на минуту приподняла покров с его лица; но тотчас же и раскаялась в неуместном любопытстве: это мертвое лицо, с которого смерть успела согнать все следы человеческих слабостей и страстей, наложив на него свою печать строго-величавого спокойствия, до конца дней преследовало ее как грозно-укоряющий призрак.

Выйдя из спальни цезаря, она тотчас же приказала пригласить музыкантов и мимов, так как император, сказала она, проснулся и пожелал иметь какое-нибудь развлечение. И скоро в соседней с покойником комнате раздались звуки музыки и пения, чередовавшиеся с грубыми шутками и шумными буффонадами мимов.

Тем временем Агриппина, поместившись в одной из приемных зал, велела позвать к себе Британника, Октавию и сводную сестру их Антонию и стала осыпать их самыми нежными ласками, стараясь удержать их возле себя, в особенности же Британника. Она целовала юношу, обнимала его, со слезами на глазах называла живым портретом Клавдия, настоящим цезарем, проводила своей белоснежной рукой по его длинным шелковистым волосам и, чтобы успокоить его, делала вид, будто ежеминутно посылает в опочивальню цезаря справляться об его здоровье. Но все это время под личиной спокойствия и нежного участия она болела душой, томясь в муках страшно-тревожной неизвестности, так как астрологи и халдеи все продолжали уверять ее через ее клеветников, что благоприятная минута еще не настала. С другой стороны, ее отчасти беспокоили и Британник, который, мучимый тяжелым предчувствием грядущего несчастья, более и более порывался, как и Октавия, к больному отцу. Тщетно старалась Агриппина отвлечь мысли юноши от того, что происходило в опочивальне цезаря, развлечь его различными рассказами и, наконец, даже предложила подарить ему своего белого соловья, считавшегося во всем Риме величайшей редкостью. Однако ж Британник, несмотря на свою

страсть к птицам, на этот раз холодно отказался от ее предложения, заметив, что вовсе не желает лишать ее такой птицы, которой завидует весь Рим. Наконец, волнение и беспокойство юноши достигло крайних пределов.

– Я уверен, – сказал он, – что отец мой занемог серьезно, и, конечно, желал бы видеть меня подле себя. Я уже не ребенок, чтобы в такой момент сидеть здесь, в бездействии, среди женщин, а потому позвольте мне, Августа, пойти к императору.

– Еще потерпи немного, дорогой мой Британник, – ласково стала уговаривать юношу Агриппина, – ведь не захочешь же ты потревожить своего отца, прервав своим приходом его сон, от которого зависит, быть может, самое выздоровление.

Это было сказано, чтобы выиграть время и вместе с тем успокоить юношу, хотя Британник и сам понимал, что всякая попытка его уйти без разрешения императрицы была бы бесполезна. Все входы и выходы дворца оберегались толпой рабов, отпущенников и солдат, стоявших на жалованье у Агриппины. К тому же все утро в длинных проходах то и дело раздавались чьи-то тяжелые и торопливые шаги и вообще по всему можно было догадаться, что во дворце творится что-то необычайное. Но вот и на улице, со стороны главных ворот, слышались бряцание оружия и шаги военного отряда.

В эту минуту в дверях залы показался Паллас и с низким поклоном печально проговорил:

– Августа, я огорчен необходимостью сообщить вам плачевное известие: император Клавдий скончался.

При этом известии Октавия, введенная в заблуждение уверениями Агриппины, начала горько плакать. Британник опустился на сиденье и, склонив голову, закрыл лицо руками. Он любил отца горячо и искренно и в первую минуту тяжелого горя был далек от всяких эгоистических помыслов, хотя и знал, что будет призван наследовать отцу на римском престоле. Затем он встал, провел рукой по заплаканным глазам и, подойдя к своей сестре Октавии, обнял ее ласково и сказал:

– Теперь мы круглые сироты с тобой, Октавия. Матери у нас давно уже нет, а сегодня мы лишились отца. Мы остались одни и должны крепко стоять друг за друга. Не падай духом! И ты тоже, Антония, успокойся и не плачь: обещаю быть всегда добрым братом как для одной, так и для другой из вас.

А тем временем Агриппина с появлением в зале Палласа тотчас же сняла с себя личину, поняв, что халдеи и астрологи наконец-то остались довольны небесными знамениями. Через минуту она уже слышала, как, скрипя, отворились дворцовые ворота, затем она услышала голос Бурра, приглашавшего военную когорту встретить приветствием своего нового императора, и, наконец, – о счастливый миг! – до нее один за другим начали доноситься восторженные клики войска и народа: «Да здравствует император Нерон!», «Да здравствует внук славного Германика!».

Тогда она встала торжествующая, вышла на террасу и увидела вдали своего сына. Лицо молодого человека сияло торжеством и радостью, глаза блестели, длинные вьющиеся волосы, развеваясь, казались золотыми, освещенные лучами полуденного солнца; его невысокая, но стройная фигура была облечена в пурпуровую мантию римских императоров. Опираясь на руку преторианского префекта, он обходил ряды дворцовой когорты.

– Преторианцы! – громко зывал к солдатам Бурр. – Смотрите, вот император ваш, Нерон Клавдий цезарь.

– Нерон! – слышалось в рядах несколько робких и как бы нерешительных восклицаний. – Но где же Британник? Где родной сын императора?

И солдаты в недоумении стали озиаться. Но в то время Бурр, чтобы положить конец опасным колебаниям, громогласно скомандовал: «Принесите носилки!». И через минуту Нерон на богато разукрашенных носилках и сопровождаемый префектом, во главе избранной когорты кавалеристов, направился по дороге к лагерю преторианцев.

Теперь торжество Агриппины дошло до апогея. Гонцы за гонцами являлись к ней с известием, что все римляне, как один человек, приветствуют ее сына своим императором и что в воздухе стоит стон от громкого ликования народа и восторженных приветствий в честь юного цезаря.

Потом вновь избранного императора понесли с музыкой и песнями, заглушаемыми радостными кликами сопровождавшей его толпы народа, в сенат. Но и по дороге в сенат нашлось все-таки несколько смельчаков, во всеуслышание и не без изумления спрашивающих: «Где же Британник? Где родной сын Клавдия?» Эти возгласы, как ни терялись среди шума других криков, долетели и до слуха Британника. Он было хотел при этом выбежать на балкон и показаться народу, но повелительный жест Агриппины и Палласа, который схватил его за плечо, остановили юношу. В отчаянии он опустил на стул и закрыл лицо руками. Октавия, в свою очередь, подошла к брату и стала утешать его. Сознывая свое бессилие, видя себя всеми оставленным, понимая свое одиночество в этом дворце и, наконец, услышав среди криков, приветствующих Нерона, крик: «Да здравствует дочь нашего незабвенного Германика!», бедный юноша понял, что всякая борьба была бы теперь более чем бесполезна, и молча покорился было своей участи, как вдруг вскочил и, бледный от негодования, встал перед Агриппиной.

– Почему императором провозглашен не я? – спросил он, грозно сверкнув глазами. – Не думаю, чтобы мой отец когда-нибудь имел намерение лишить меня законных моих прав. Я родной его сын, а не приемыш. Это заговор! Где завещание покойного государя, моего отца? Почему не представлено оно сенату для обнаружения?

Императрица стояла, пораженная удивлением, услышав такой энергичный протест из уст этого мальчика, всегда кроткого и безответного.

– Глупый мальчик! – сказала она. – Тебе ли, еще ребенку, на которого не возложена тога зрелости, тебе ли совладать с тяжелым бременем правителя мировой империи? Но не бойся: Нерон твой брат, не даст тебя в обиду.

– Не даст меня в обиду! – с негодованием повторил возмущенный до глубины души Британник. – Это заговор! Хитрыми происками украли вы у меня наследство моего отца, чтобы отдать его вашему сыну Агенобарбу.

Услышав это, Агриппина уже было подняла руку, чтобы ударить юношу, но тут вмешался Паллас и, остановив ее, твердо, хотя и не без нежности в голосе, сказал молодому принцу:

– Замолчите, если не хотите себя погубить безвозвратно. Оставьте эти вопросы, молодой человек: не нам с вами решать их. Это дело сената, преторианцев и римского народа. Если войско избрало Нерона своим императором и сенат утвердил такой выбор – он ваш император, и вы должны ему повиноваться!

– Всякое сопротивление с твоей стороны будет бесполезно, брат, – заметила ему и Октавия. – Отца у нас нет, Нарцисс удален, и здесь нет никого, кто бы мог заступиться за нас.

– Никого, кто бы мог заступиться! – повторила Агриппина. – И это говорит Октавия, жена моего Нерона! Неблагодарная! Разве отныне ты не императрица? Не первое лицо после Нерона?

Но на это Октавия ничего не ответила, а только повторила:

– Отец наш скончался! – И потом прибавила: – Не разрешит ли нам Августа теперь пойти к нему и поплакать над его телом?

– Идите! – сказала Агриппина и прибавила: – Я же со своей стороны приму все меры, чтобы был он причислен к сонму бессмертных богов и чтобы народ воздал его останкам все почести, какие следуют члену дома цезарей.

Затем, обратясь к лицам своей свиты, она приказала им распорядиться, чтобы у входа в атриум был поставлен кипарис; чтобы в комнате покойника и днем и ночью курили фимиами; чтобы тело умершего облекли в императорскую тогу поверх туники; чтобы ко дню погребения

были сделаны все приготовления для погребальной процессии: с женщинами-плакальщицами, флейтчиками и трубачами, актерами и масками, с герольдами и ликорами в траурном одеянии.

А Нерон в это время произносил перед сенатом весьма эффектную речь, сочиненную для него Сенекой, – речь, в которой излагалась в самых красивых и громких фразах самая квинтэссенция мудрого правления и которую прерывали ежеминутно оглушительные взрывы единодушных рукоплесканий. Наконец, сенаторы, умиленные и восхищенные, не зная, чем почтить юного императора, предложили ему принять титул «отца своего отечества», на что Нерон ответил скромно: «Да, но не прежде, чем заслужу его».

День приближался уже к вечеру, когда вблизи дворца вновь раздались оглушительные крики ликования, возвещавшие Агриппине о приближении Нерона, возвращавшегося в сопровождении Бурра, Сенеки, преторианцев и целой толпы шумно ликовавшего народа из курии во дворец.

В золотой парчовой палле поверх пурпуровой столы, густо усеянной жемчугом, Агриппина, в ожидании сына, восседала в тронной зале. И как только увидала Нерона, она сошла с высоты позолоченного трона и горделивой поступью пошла ему навстречу.

Нерон, подойдя к матери, наклонился было, чтобы поцеловать ей руку, но Агриппина, позабыв в порыве материнского чувства придворный этикет, заключила его в свои объятия.

В этот день Агриппина поднялась до высшей точки той высоты, к которой всю жизнь стремилась эта женщина в ее чудовищном честолюбии.

Ее сын был императором, и она ласкала себя уверенностью, что этот новый император в ее сильных и опытных руках будет податлив и мягок, как воск. Внучка и правнучка императоров, она в то же время была и сестрой одного императора, и супругой другого и, в заключение, матерью третьего!

Совсем позабыв об отравленном ею муже, Агриппина строила самые грандиозные планы на будущее время своего нераздельного, как она полагала, владычества, когда после вечернего банкета к ней зашел Нерон, слегка разгоряченный изрядными возлияниями и несколько утомленный событиями дня. Пока мать и сын, прежде чем пожелать друг другу покойной ночи, дружески беседовали, поздравляя друг друга с блестящим началом нового царствования, к Нерону явился центурион дворцового караула, чтобы от него получить пароль на ночь.

– «Optima mater» (лучшая мать), – ни минуты не задумываясь, ответил император.

## Глава VI

Навряд ли оказался бы во всем Риме другой человек, которому после молодого императора завидовали бы больше, чем завидовали Сенеке, воспитателю императора и первому после него лицу в империи. Философ, ритор и образцовый стилист по единогласному признанию критиков той эпохи, он, действительно, был человек бесспорно замечательно даровитый, обладавший чрезвычайно широкими познаниями и к тому же громадными богатствами. Но, к сожалению, в глазах потомства философ этот много повредил себе несчастной попыткой войти в невозможный компромисс, немало пошатнувший его репутацию, – и все-таки не спасший его. Не место было философу при безнравственном дворе римских цезарей. Трудно было оставаться на высоте учения стоиков и одновременно быть покорным исполнителем воли Нерона. Не могли не отзываться неискренностью громкие восхваления добродетели и трескучие фразы в защиту бедных и угнетенных в устах человека, находившегося в самых тесных сношениях с людьми, без совести и без стыда утопавшими в грязи всевозможных пороков, непрестанно окруженного толпой льстецов и не умевшего с должной энергией бороться с собственными поползновениями к алчности и суетливому тщеславию.

А между тем этот человек, даже замкнувшись в скромной жизни частного лица, мог бы быть так счастлив, посвятив себя исключительно одним литературным философским занятиям. Дом его был полной чашей, его сады роскошны и обширны; жена его, Паулина, была женщина любящая и кроткая; его сын, Марк, которому было предрешено погибнуть в самом расцвете юных сил насильственной смертью, был прелестный ребенок, восхищавший всех как своим счастливым веселым нравом, так и замечательными умственными способностями. Но, на свою беду Сенека имел несчастье попасть в заколдованный круг придворной жизни. Вечно опасаясь потерять расположение к себе Нерона, он постоянно принужден был, боля душой, потворствовать тому, чем возмущалась его совесть, одобрять то, что было ему ненавистно. Как ни короток был промежуток времени, прошедшего со дня кончины Клавдия, Сенека однако ж уже успел убедиться за это время, что, стараясь сдерживать Нерона, он, собственно говоря, держит за уши волка; да и со стороны многие уже начинали смотреть на него, как на впряженного в колесницу легкомысленного ученика, контролировать поступки которого делалось ему не по силам.

Однажды после полудня, задумчивый и, видимо, расстроенный, Сенека сидел в своем рабочем кабинете – просторной комнате с длинными рядами полок, на которых лежали избранные сочинения лучших авторов в свитках из тонкого пергамента и папируса, накатанных на палки из слоновой кости. Но сегодня этот даровитейший, влиятельнейший и богатейший из римских сенаторов того времени был не то встревожен тяжелым предчувствием, не то раздосадован теми намеками на свою постыдную и малодушную угодливость перед Нероном, какие в это утро ему пришлось выслушать от одного из многих своих посетителей.

В этот день к Сенеке первым явился брат его, Галлион, недавно вернувшийся из Ахаии, где занимал пост проконсула, и с которым философ долго беседовал по душам. Галлион, между прочим, рассказал один маленький эпизод, которому Сенека много смеялся. Однажды толпа коринфских евреев привела к нему на суд своего раввина, обвиняя его в единомыслии с какими-то сектантами – последователями учения одного злодея, распятого будто бы за попытки взбунтовать народ, а всего вернее, в угоду беспокойной еврейской черни, в царствование Тиверия, в эпоху прокуратурства Понтия Пилата. Этого раввина звали Павлом.

– Конечно, я отклонил от себя всякое разбирательство догматов этого гнусного суеверия, – сказал Галлион.

– Так-то оно так, – заметил в раздумье Сенека, – но многим ли лучше наша мифология? Галлион пожал плечами.

– Эти боги – боги черни, а не наши, – сказал он, – они излишни для правителей.

– Ты знаешь ведь, к сонму этих богов недавно причислено еще новое божество – божественный Клавдий, – сказал Сенека.

– Да, – многозначительно проговорил Галлион, – нового этого небожителя вознесли в сферу богов не без крючка. Однако, ты не дал мне досказать истории с раввином. Этот Павел – по рождению простой еврей, – был, как кажется, прежде чем-то вроде обыкновенного ремесленника; но, так или иначе, ему удалось как-то, несмотря на его нелепые верования, войти в доверие к Эрасту и многим другим грекам. Странно сказать, но этот любопытный субъект, исповедуя веру в религиозные догматы самого бессмысленного содержания, в то же время проповедовал, как мне передавали, чрезвычайно оригинальный кодекс очень высокой этики. Не без любопытства смотрел я на него. Он был одет в обыкновенный костюм восточных евреев; с чалмой на голове и в грубом полосатом хитоне поверх туники. Роста он невысокого, лицо типичное настоящего еврея. Но в глазах его, хотя и больных, воспаленных, было что-то особенное. Ты знаешь ведь, я полагаю, до какой виртуозности доходят эти евреи в искусстве визгливо кричать и шуметь, как только рассвирепеют. Даже и здесь, в Риме, случалось нам слышать их гвалт, и ты сам, конечно, не забыл того памятного дня, когда Цицерон, оглушенный их криками до того, что чуть было не позабыл, о чем должен был говорить, принужден был свою речь произнести шепотом, чтобы не могла ее слышать собравшаяся на форуме толпа евреев. Да и в самом деле, кого же не приведет в ужас, будь он даже и римлянин, эта грязная толпа людей, дико жестикулирующих, орущих и беснующихся всячески! Чего уж я, кажется, довольно-таки спокойный человек, как ты сам знаешь, и то порядком напугался, хотя всячески и старался скрыть это под видом равнодушного презрения. Этот же Павел стоял тут среди бушевавшей черни и, спокойный и неустрашимый, точно Регул какой или Фабриций, смотря на своих жестоких гонителей с кроткой всепрощающей лаской во взгляде. Не раз пытался он умиротворить их, стараясь вразумить добрым словом, но всякий раз они прерывали его своими пронзительными криками. Ты себе не можешь представить то спокойствие, то достоинство, с какими стоял этот невзрачный, тщедушный еврей в бесновавшейся против него толпе. Признаюсь, он поразил меня: лицо его дышало кротостью, и от него веяло какой-то необыкновенной нравственной чистотой. Спокойно сидя на моем курульном кресле, я решил оставить без внимания требования крикливых евреев против этого человека и объявил им, что ввиду полного отсутствия против Павла всяких улик в каком-либо уголовном преступлении, я не берусь быть судьей в их религиозных распрях и тут же приказал ликторам очистить преториум. Я думал было, что дело этим и кончится. Но не тут-то было. После евреев наступил черед греков шуметь и волноваться. Взбешенные против евреев, затеявших бунт, они стали на сторону Павла, поспешили укрыть его куда-то, а затем чуть ли не под моими окнами избили до синяков старшину еврейской синагоги.

– Ну, и что же? Ты, конечно, вмешался? – спросил Сенека.

– Нет, с какой стати! Я только посмеялся. Какое мне дело – мне, римлянину и философу, если горсть греков-тунеядцев и угостит синяками большее или меньшее число евреев. Но вот лицо этого Павла не давало мне почему-то покоя. Мне говорили, будто свое воспитание он получил в Тарсе и что это человек образованный. Я все порывался было повидаться с ним и побеседовать и разведал даже, что он нашел себе убежище где-то на окраине города, у одного шатерного мастера еврея Аквила, изгнанного из Рима в силу мудрого эдикта Клавдия. Но ликтор, которому я дал поручение отыскать его, не мог или же просто почему-либо не хотел найти его. Впрочем, эти христиане вообще люди очень скрытные; хотя в конце концов, оно, может быть, было и лучше не унижаться до каких-либо разговоров с главой секты, всеми презираемой за ее чудовищную развращенность, в сравнении с которой, если верить молве, древние вакханалии, запрещенные лет уже двести тому назад, были ничто.



– Да и я тоже кое-что слышал об этих христианах, – сказал Сенека. – Наши рабы, вероятно, знают об этих людях гораздо больше, чем мы. Однако беспокоить императора каким-либо упоминанием о них, разве они вздумают устроить бунт в Риме, я пока не стану.

В эту минуту Сенеке доложили о приходе другого его брата, сенатора Марка Эннеа Мелы с сыном Луканом.

– Проси сюда, – сказал Сенека рабу и, встав, пошел навстречу брату. – А вот и ты, брат мой, мой Лукан. Ну нравится ли вам ваше пребывание в Риме? Не лучше ли было бы для всех нас, если б мы остались в родной нашей Кордове?

– Не знаю уж, так ли это, – сказал Мела. – Что же, собственно, до меня, то я должен сказать, что считаю несравненно более приятным для себя быть сенатором в Риме и прокуратором императорской вотчины, нежели управлять своим собственным родовым поместьем в Испании.

– А ты какого мнения, наш поэт? – спросил Сенека, обращаясь к молодому испанцу, стройному и красивому семнадцатилетнему юноше, первые стихотворения которого уже успели заслужить сочувственное внимание критиков.

– Да я того мнения, что если человеку стоит жить из-за того, чтобы наслаждаться счастьем в качестве частого гостя за столом Нерона и слушать, как он читает свои плохие стишонки, то в Риме, конечно, лучше, чем в Кордове.

– Стихи его вовсе уж не так плохи, – заметил Сенека.

– О, конечно, они великолепны! – с напускным восторгом воскликнул Лукан. – Сколько мысли! Как они полны самой потрясающей действительности! Сколько дивных созвучий! Словом, они плавают и тают во рту, как говорит мой друг Персий.

– Однако ты не можешь не согласиться, что император мог бы найти себе занятие похуже невинного стихотворства и пения.

– Разумеется, но императору было бы приличнее посвящать свое время делу более существенной важности, – возразил молодой человек. – К тому же с ним стою я на почве весьма опасной и, признаюсь, был бы очень рад, если б ему никогда не приходила фантазия вызвать меня из Афин, и если б он не величал меня своим другом. Откровенно говоря, я не люблю его. Да и он тоже меня не особенно долюбивает, и сколько бы он ни старался скрыть своей зависти ко мне, она проглядывает при всяком случае; то же самое и в моих похвалах, сколько бы ни восторгался я каждой строчкой читаемого им собственного стихотворения, он чувствует неискренность и фальшь.

– Смотри, будь осторожен, Лукан; берегись! Характер Нерона изменяется быстро к худшему. Мне пока еще удастся сдерживать в нем внутреннего лютого зверя, но раз этот зверь хлебнет крови... Плохие, брат, шутки, когда голова лежит в пасти дикого зверя.

– Однако ж ты сам, мне кажется, не так давно еще говорил, что по своему милосердию молодой Нерон не имеет себе соперника ни в одном из своих предшественников, – заметил Галлио.

– Правда, я говорил это; но не нужно забывать, что все же он сын своего отца, – отвечал Сенека, которого неприятно покорило такое напоминание. – А кому же из нас не известно, до какого зверства доходил в своей жестокости Домиций Агенобарб! Не помню, рассказывал ли я вам когда-нибудь, что в ночь после, как получил я назначение быть его воспитателем, мне приснилось, что мой воспитанник не Нерон, а Калигула.

Наступило тяжелое молчание. Все задумались. Тогда Лукан, чтобы дать другое направление разговору, обратился к Сенеке с вопросом:

– Скажи мне, дядя, веришь ли ты в халдеев и их гороскопы?

– Нет, не верю, – ответил философ. – По-моему, звезда судьбы каждого человека в его сердце.

– Следовательно, не веришь. Впрочем, не скажу, чтобы и я доверял им слепо. А все-таки... но не хотите ли послушать, что предсказал мне однажды один халдей?

– Рассказывай, – сказал его отец Мела. – Я не мню себя таким мудрецом, как наш добрый Сенека, и почти уверен, что в предсказаниях астрологов есть своя доля правды.

– Он сказал мне, – начал Лукан, – что прочел в звездной книге, что ранее чем через десять лет и вы оба, дяди, и ты, отец, а также и я, и... – тут молодой поэт весь содрогнулся, – и мать моя Атилла – мы все погибнем от насильственной смерти и благодаря моей вине. О боги, если только боги существуют, отвратите это ужасное прорицание!

– Полно, Лукан, ведь это же чистое суеверие, достойное еврея или даже христианина, – сказал Сенека. – Эти халдеи известные шарлатаны. Всякий человек сам кузнец своей судьбы. Я – воспитатель Нерона и ближайший его советник, ты – его друг, все члены нашей семьи в величайшей милости при дворе... Однако кто-то идет: я слышу шаги солдат. Это, вероятно, Бурр: я жду его, он должен прийти ко мне по одному важному государственному делу. А потому до свидания пока; приходите вечером ужинать, если только вы не откажетесь разделить со мной мою скромную трапезу.

– Недурна твоя скромная трапеза! – не без зависти проговорил Мела. – Твои ложки разукрашены инкрустацией из черепахи, столы на точеных ножках из дорогой слоновой кости, а на столах хрустальные кубки и мирринские сосуды.

– Ну, не безразлично ли философу, пьет ли он из хрустального кубка или из глиняного? – засмеялся Сенека. – А что до моих столов с ножками из слоновой кости, о которых все толкуют так много, то ведь и у Цицерона, небогатого студента, был один стол, стоивший пятьсот тысяч сестерций.

– Да, один, а у тебя подобных столов найдется, думаю, штук пятьсот, – сказал Мела.

Сенека немножко сконфузился.

– «*Asserimus reterritura perterrituri*» – недолговечные мы принимаем недолговечное, – улыбаясь, сказал он. – Впрочем, даже и сама клевета не может не засвидетельствовать, что для меня, собственно, на этих ценных столах лишь в исключительных случаях подается какая-либо роскошь, более дорогая, чем свежая вода, овощи и плоды.

И, повторив Лукану на ухо совет вести себя осторожнее и не давать воли своему пылкому нраву, «суровый стоик-царедворец» встал и пошел навстречу своему сотоварищу, Бурру Афранию.

## Глава VII

Бурр был сравнительно человек еще молодой, и с первого взгляда в нем был виден настоящий воин – неустрашимый и честный римлянин. Но сегодня и он был угрюм и мрачен, и те, кому случалось видеть его в день воцарения Нерона, когда он сопровождал юного императора сначала в лагерь преторианцев, а оттуда и в сенат, не могли не заметить, как много новых морщин прибилося с тех пор на его открытом и честном лице.

Подобно Сенеке, и Бурр чувствовал, что с каждым днем положение дел при дворе принимает все менее и менее утешительный характер. Но, к счастью, народные массы, как и большая часть аристократии, радуясь миру и общественному благоденствию, пока еще находились в полном неведении тех прискорбных обстоятельств, которые возбуждали столько тревог за будущее в умах этих двух государственных мужей, беспокоя их предчувствиями самого зловещего свойства. Как и аристократия, народ с восторженной похвалой отзывался о речи, произнесенной новым императором перед сенатом после того, как был отдан последний печальный долг бранным останкам умерщвленного Клавдия. «Во всем мире нет человека, против которого я питал бы чувство злобы или ненависти, – сказал Нерон, – и мстить мне некому. Моей священнейшей обязанностью сделается забота о сохранении во всей ее неприкосновенности автономии законом утвержденного суда. В моем дворце не будет ни подкупа, ни происков. Войском я буду командовать, но никогда не позволю себе затронуть чем-либо священных прав отцов-сенаторов». Нельзя было не узнать в этой речи стиля и чувств Сенеки; но ведь это могло служить только ручательством того, что кормило правления наконец-то в руках мудрой философии. И действительно, сенаторам на первых порах представлено было принять некоторые весьма благодетельные и полезные меры. Это было началом того периода царствования Нерона, благотворными результатами которого в смысле внешнего спокойствия и общественной безопасности государство было обязано исключительно совместным усилиям Сенеки и преторианского префекта Бурра.

Но кроме Нерона очень серьезные опасения возбуждало как в том, так и в другом из этих двух ближайших к императору людей непомерное и беспокойное честолюбие Агриппины. Не говоря уже об ее упорном желании занимать, вопреки обычаю того времени, и в дворцовом совете сенаторов и при приеме иностранных послов первое место после Нерона, она позволила себе почти гласно подвергнуть насильственной смерти не только давнишнего своего недоброжелателя Нарцисса, но еще и Юния Силана, брата бывшего нареченного жениха Октавии до ее замужества с Нероном, и которого она опасалась, как праправнука императора Августа и вероятного мстителя за смерть брата. Только с большим трудом удалось, наконец, соединенным противодействием Бурра и Сенеки прекратить дальнейшие такого же рода кровавые расправы мстительной женщины.

А между тем перед ними с каждым днем появлялись новые затруднения. Нерон все теснее и теснее сближался с такими представителями тогдашней римской «золотой молодежи», какими считались справедливо Отон, Туллий Сенеций и оригинальный красавец Тигеллин. Эти люди оказывались его опытными многознающими наставниками во всяких пороках, а он был крайне понятливым учеником, не замедлившим своими успехами превзойти учителей. Благодаря отчасти влиянию этих новых друзей император очень скоро перестал конфузиться своей любовью к прелестной Актее, вольноотпущеннице в свите Октавии, и отдался открыто своему чувству со всем пылом юных лет. Об этом романе не замедлила узнать везде имевшая своих шпионов Агриппина и, боясь всякого соперничества в привязанности к ней сына, разразилась целой бурей жестоких упреков и даже угроз. Это было с ее стороны очень грубой ошибкой; ласковое и спокойное слово увещания было бы, по всей вероятности, не только действеннее, но, может быть, и оказалось бы поворотной точкой в жизни человека, пока еще не

совсем испорченного, а только начинавшего робко и застенчиво искушаться на поприще зла. К тому же она сделала при этом случае еще и другую ошибку: заметив, что строгостью она, оттолкнув Нерона от себя, тем самым как бы толкнула его в общество Отона, Сенеция и им подобных, она впала в противоположную крайность и начала очень снисходительно смотреть на то, к чему сперва отнеслась так строго и с таким негодованием, и этим, очень понятно, сильно пошатнула свое влияние на сына.

Но и ошибка Сенеки в этом случае имела также не менее пагубное влияние на молодого императора. Вместо того, чтобы остановить его и отвлечь, пробудив в нем благородное честолюбие и жажду славы, философ имел неосторожность пустить в ход зловредную тактику уступок, в которой дошел до того, что даже уговорил одного из своих родственников, начальника полиции, притвориться влюбленным в Актею и этим, заслонив любовь Нерона, отвести от него глаза.

Сегодня же Бурр явился к Сенеке именно с той целью, чтобы сообщить ему, что страсть Нерона к Актее начинает переходить границы разумного; что он уже стал поговаривать о намерении, с помощью подкупа, заставить двух римских консулов клятвенно засвидетельствовать, что Актея – простая раба, вывезенная из Азии, – прямой потомок Атталы, царя пергамского, и высказал Бурру свое желание развестись с Октавией и жениться на Актее.

– А вы что ему на это сказали? – спросил Сенека.

– Я очень откровенно объяснил ему, что если он разведется с Октавией, то будет обязан возвратить ей ее вено.

– Ее вено?

– Ну да – римскую империю. Ведь если он владеет ею, то только благодаря тому, что Клавдий, как мужа своей дочери, сделал его своим приемным сыном.

– А что он ответил на это?

– Надулся, как капризный ребенок, получивший выговор, и я уверен, что он когда-нибудь припомнит мне эти мои слова.

– А я так полагаю, Бурр, что с нашей стороны будет, напротив, благоразумнее помочь этой романической привязанности цезаря, нежели бороться с ней. Актея безвредна – и не опасна: добрая и кроткая, она никогда не станет злоупотреблять своим влиянием, – она неспособна обидеть даже муху. Напротив, она может только удержать Нерона на покато́й дороге порока и зла. И вот почему мое мнение таково, что в данном случае некоторое потворство является наилучшей политикой, и потому, сказать по правде, я уже принял некоторые меры к устранению кое-каких затруднений...

– Вы – философ, человек мысли, и вам, конечно, лучше это знать, – сказал Бурр, – тем не менее я должен сказать, что такой образ действий мне не нравится, и не этим путем пошел бы я. Впрочем, к этому возвращаться больше не стану, если вы считаете возможным не смотреть на это дело с особенно серьезной точки зрения. Простите, я ухожу. Долг солдата требует моего присутствия в лагере. Прощайте!

Через несколько времени после ухода Бурра к Сенеке пришел в это же утро еще посетитель – стоик Аннэй Корнут.

– Милости прошу! Корнут во всякое время желанный гость в доме Сенеки, – приветствовал философ коллегу, – но никогда еще посещение твое не было так вовремя, как сегодня. Мне необходимо посоветоваться с тобой под строгим секретом насчет дальнейшего воспитания императора.

– Допустимо ли, чтобы мудрый Сенека, издавший столько прекрасных наставлений по вопросу о воспитании и образовании, нуждался в совете по этому делу? – удивился Корнут.

Но Сенека, вместо всякого ответа, изложил другу те причины, которые несколько минут тому назад приводил Бурру в объяснение своего образа действий. Несмотря на это, Корнут с откровенностью истого стоика беспощадно уничтожил его хитросплетенную ткань софизмов.

– Поступок может быть или хорош, или дурен, – сказал он. – Если он дурен, обелить его не могут никакие оправдательные мотивы, и он остается таковым, к каким бы мы не прибегали изворотам, чтобы одобрить его. Ты говоришь, что цель твоих малодушных уступок – удержать императора от тех позорных и жестоких подвигов, какими омрачили свое царствование Тиверий и Калигула. Но имеется ли возможность достичь этого иначе, как только посредством постоянного внушения императору, что он имеет право делать лишь то, что должен делать. Чтобы сдержать многоголовую гидру порочных побуждений молодого человека, ее необходимо покорить господству разума, а не давать ей волю брать над ним верх.

– Это верно; но по своему положению я обязан смотреть на вещи не только с точки зрения отвлеченных нравственных соображений, но с точки зрения государственного человека, – заметил несколько обиженный Сенека.

– Да, но в таком случае не следует и прикрывать своего образа действий философским учением. Прости, я говорю с тобой откровенно, как стоик со стоиком. Но, может быть, тебе неприятно слышать правду? Я готов в этом случае замолчать. Но если желаешь, чтобы я говорил, – вот тебе мое откровенное мнение: ты заблуждаешься жестоко, мечтая управлять страстями путем потворства им. Позволяя Нерону предаваться одной преступной наклонности, ты надеешься, по твоим словам, спасти его этим от более пагубных уклонений с пути правды и добра. Разве ты не знаешь, что все пороки – одна непрерывная цепь. Вторая ошибка – это твоя лесть перед учеником и то, что ты вбил ему в голову уверенность в неограниченности его власти.

– Нерон император и в конце концов волен же делать и поступать, как ему заблагорассудится, – сухо заметил Сенека.

– Но, хотя он и император, однако же можно говорить и ему правду, – сказал Корнут. – Я первый осмелился оскорбить его вчера, сказав ему одну правду.

– Каким это образом?

– Твой племянник Лукан, восторгаясь фантастическими стихотворениями Нерона, высказал желание, чтобы Нерон написал четыреста томов... – «Четыреста! – воскликнул я. – Уж не много ли это будет?» – «Отчего много?» – сказал Лукан. – Издал же Хризипп, которого вы постоянно так превозносите, четыреста томов». – «Да, – ответил я, – но то были такие сочинения, которые принесли пользу человеку». – Нерон надулся и стал чернее ночи. Все бывшие тут многозначительно посмотрели на меня. Но что же делать: нельзя же философам в угоду императорам превращаться в льстецов. Что стало бы тогда с философией?

– В твоей скромной доле ты счастливее меня, Корнут, – сказал Сенека и тяжело вздохнул. – Но пойми меня: не одобряю я, а только уступаю. Сам же я изнемогаю под гнетом страшной неизвестности, и бывают моменты, когда жизнь кажется мне каким-то хаосом, наполненным одной бессмысленной суетой. Хоть я и порываюсь подняться на более высокую ступень добродетели, но – увы! – человеческие слабости и несовершенства всегда тормозят мои лучшие стремления. Я уже не в силах стать наравне с лучшими, и все, что я могу, – это быть несколько лучше дурных.

– Только тот, кто старается метить выше всех, может надеяться достигнуть идеала сколько-нибудь высокого; и к чему громкие слова без твердого намерения осуществлять их на деле, – сказал Корнут и, встав, простился с Сенекой.

Сенека пошел проводить гостя. Но незавидно было чувство, глухо нывшее в то время в глубине души одного из тех людей, которому больше всего завидовали в Риме.

## Глава VIII

Окруженный новыми приятелями, праздно проводил Нерон утро среди различных потех. Невзирая на ранний предобеденный час, он был облачен в легкую просторную синтезу – род широкой цветной туники с широкими рукавами – и в сандалиях на ногах. Такая небрежность в костюме молодого императора была лишь следствием чрезмерной склонности к различным удобствам и излишнему самоугождению. Впрочем, волосы его были завиты весьма тщательно, и пальцы унизаны множеством перстней. Подобно и самому императору, окружавшие его приятели, небрежно полулежа на низких ложах, болтали, сплетничали, часто зевали, редко смеялись от души и льстили – льстили ему без конца.

Отон, в то время ему было около 23-х лет, представлял собой весьма характерный продукт римской цивилизации эпохи империи. Без усов и без бороды, он был к тому же плешив и смотрел на свою лысину, которую искусно скрывал под щегольски завитым белокурым париком, как на одну из самых вопиющих несправедливостей неправедных жестоких богов. Ростом Отон был невысок, и ноги у него были кривые; но его большие прекрасные глаза с поволокой и чрезвычайно красивый лоб придавали его лицу выражение необыкновенно приятное, но вместе с тем и очень изнеженное. И в самом деле, изнеженность была выдающейся чертой характера этого фаворита, для которого раздушенные ванны, праздное шатание и небрежное волокитство с тонкими улыбками составляли высшее наслаждение в жизни, и даже его так прославленное самоубийство не было лишено некоторой доли изнеженности. Шестью годами старше императора и несравненно опытнее его в пороках, он не замедлил приобрести над ним очень сильное влияние и этим влиянием вскоре окончательно уничтожил те добрые начала, какие были вложены в сердце Нерона благими наставлениями Сенеки и Бурра. Рядом с Отоном возлежал другой молодой богач – кутила и расточитель – Туллий Сенеций, считавшийся законодателем моды среди римской богатой молодежи. Кружок приятелей дополняли: Петроний, человек необыкновенно образованный и умный, но одновременно страшный циник и очень невоздержанный на язык; Вестин, юноша, испорченный до мозга костей, Квинтиан, известный своею алчностью и, наконец, Тигеллин, в то время только что начинавший свою карьеру, на которой впоследствии стяжал столь громадную известность своей жестокостью, продажностью, предательством и всевозможными пороками.

А между тем все эти представители римской золотой молодежи, очевидно, страшно скучали в обществе друг друга и не знали, что делать, чтобы убить время. Сперва они пробовали было доставить себе развлечение, потешаясь над скоморошеством одного из придворных шутов и злым остроумием редкого по своей миниатюрности карла. Но вскоре такая забава прискучила. Тогда они принялись за строго воспрещавшиеся законом игры в кости, бабки и кубы и при этом приказывали подавать фляги с фалернским вином и плоды. А между тем им все-таки казалось, что время идет черепашим шагом, как вдруг императора озарила, наконец, счастливая мысль: он предложил приятелям в виде развлечения осмотреть старинные наряды, уборы и драгоценные украшения прежних императриц. Восторженными криками одобрения отвечали приятели на предложение императора.

Любуясь драгоценными украшениями, парчовыми столами, усыпанными жемчугом и богатыми уборами, Нерон заметно повеселел и, выбрав один великолепный камень артистической работы с изображением Венеры Анадиомэны, подал его Отону, прибавив:

– Этот камень будет достойным украшением на шее твоей очаровательной Поппеи. А вот этот редкий опал я подарю тебе, Вестин, хотя ты временами и не стоишь подарка за свои грубости.

– Смелая речь – лучшая похвала властителям могущественным и сильным, – с худо скрываемой иронией проговорил Вестин.



– Ладно! Впрочем, не за твои услуги и дарю я тебе эту драгоценность, а скорее с той целью, чтобы красовалась она на алебастровых руках твоей прелестной Статилии. Собственно же для тебя самым подходящим подарком была бы вот эта, вделанная в янтарь, ехидна: она эмблема твоей коварной злости, а янтарь – твоей лести. А что мне подарить тебе, Сенечий, и тебе, Петроний? У обоих вас по столько прелестных предметов обожания, что, пожалуй, пришлось бы разом раздать вам все, что здесь есть. Но так и быть: тебе, Сенечий, я дарю эту унизанную жемчугом золотую сетку для волос, а тебе, Петроний, вот чудный агат с вырезанным рукою самой природы изображением Апполона и Муз. Тебе же, Квинтиан, дарю на память вот этот золотой перстень с изображением Гиласа: он придется как раз тебе впору.

Но в эту минуту новая, хотя и менее удачная, выдумка пришла в голову Нерону. Выбрав одну из самых богатых и великолепных одежд и несколько драгоценных вещей, он подозвал к себе вольноотпущенника Поликлэта и приказал эти вещи отнести на половину вдовствующей императрицы в подарок от его имени Агриппине.

– Да смотри, – прибавил он, – не позабудь вернуться ко мне, чтобы передать, что скажет Августа в благодарность.

Нерон и его приятели были уже опять в той зале, где проводили время с самого утра, и снова засели за кости и кубы, когда возвратился Поликлэт, видимо, смущенный. Впрочем, и у самого императора появились к этому времени некоторые опасения за немножко необдуман- ный поступок. Было что-то вульгарное и неделикатное в таком внимании императора к матери, еще так недавно владевшей безраздельно всеми этими нарядами, уборами и драгоценностями, как своей полной собственностью. Но и в этом незначительном, в сущности, случае Агриппина сделала ошибку, не сумев подавить своего деспотического и гордого нрава настолько, чтобы благосклонно принять глубоко оскорбивший ее самолюбие подарок сына.

– Осталась ли Августа довольна моим подарком? – как-то нерешительно спросил Поли- клэта Нерон, отрываясь от игры.

– Я доложу императору об этом, когда он будет один, – отвечал отпущенник.

– Вздор! Все эти люди мои друзья, и если моей матери угодно было быть слишком крас- норечивой в излиянии своей признательности – они, конечно, ее извинят, – нервно прогово- рил Нерон.

– Ни благодарности, ни привета не поручила мне Августа передать цезарю.

– Что же так? Это не совсем любезно с ее стороны. Но передай мне в точности, что она сказала.

– Она спросила меня, с кем проводит время император, и я сообщил ей имена здесь присутствующих.

– Какое ей до этого дело? – сердито вскричал император и весь вспыхнул, заметив мно- гозначительный взгляд, каким обменялись Отон и Вестин.

– Затем Августа пожелала узнать, сделал ли император еще какие-нибудь подарки, и на мой ответ – да, спросила: «Кому же?»

– Настоящий вопрос! – процедил сквозь зубы Вестин.

– Я ответил, что император пожаловал подарком Отона, Вестина и остальных.

– Напрасно было сообщать столько подробностей, Поликлэт. Однако продолжай.

– Августа при этом презрительно усмехнулась.

– Увы! на нашу долю не выпало счастья пользоваться благосклонным вниманием Авгу- сты, – прошепелявил Отон.

– Но что же сказала она о богатой столе и о прочих вещах?

– Августа еле удостоила их взглядом, и как только кончила меня допрашивать, далеко отбросила от себя и парчовую столу и драгоценные камни.

Нерон при этих словах вспыхнул сильнее прежнего и только немного спустя спросил отпущенника, не велела ли ему Августа передать что-либо.

Поликлэт, видимо, колебался продолжать.

– Да говори же! – крикнул нетерпеливо Нерон. – Ты во всяком случае не можешь быть ответственным лицом за ее слова.

– Мне тяжело повторять цезарю слова Августы, – начал Поликлэт, – но я повинуюсь. – «Мой сын, – сказала она, – дарит эти вещи мне, которая подарила ему все, чем он только владеет. Пусть лучше побережет он эти наряды для себя; они не нужны. Есть вещи, которыми я дорожу гораздо больше». И с этими словами Августа встала и, отбросив ногой лежавшую на полу столу, удалилась из комнаты.

Нерон сидел весь бледный, закусив с досады губы: он был взбешен и поступком Агриппины, и многозначительными усмешками Сенеция и Петрония.

На выручку к нему явился Отон.

– Не огорчайся и не волнуйся, Нерон, – сказал он. – Агриппина, вероятно, немножко позабыла в эту минуту, что ты теперь император.

– Уж не думает ли Августа, что наш император все еще в таких годах, когда юноше полагается носить не тогу зрелого мужа, а только окаймленную пурпуровой каймой тогу прэтекста? – прозубоскалил Тигеллин.

Нерон вскочил, словно его кто ужалил, причем опрокинул стол и рассыпал валявшиеся на нем кости и кубы с очками; а затем начал в сильном волнении шагать взад и вперед по зале. Молодой император еще не успел окончательно стряхнуть с себя привычку подчиняться воле матери и пока все еще находился в некотором страхе перед ней, не без ужаса представляя себе, до чего способна дойти эта женщина как в своем честолюбии, так и в своей ненависти.

– Нет, мне такая борьба не по силам, – бормотал он про себя. – С Агриппиной мне не совладать! Как знать, не собирается ли она уже и меня угостить чем-нибудь вроде грибов? Рим мне ненавистен – ненавистна вся моя империя. Я сложу с себя порфиру. Наслаждаться жизнью – вот единственное мое желание, единственное стремление. У меня есть талант к пению, и, даже если все другое мне изменит, я все-таки найду себе средства к существованию, расхаживая с музыкой и пением по улицам Александрии. Вдобавок не предсказал ли мне какой-то из астрологов, что я буду царем не то в Иерусалиме, не то в другой какой-то восточной стране? Здесь же я человек самый несчастный в мире!

И император бросился на ложе. Лицо его горело; глаза сверкали ненавистью и злобой.

– И как только смеет она оскорблять меня такой неслыханной дерзостью? Если бы я послал эти самые подарки Октавии – бедное дитя очутилось бы на седьмом небе от радости; послал бы Актею – кроткие глаза прелестного создания наполнились бы слезами любви. Ну стоит ли быть императором, если моя мать будет и дальше не только господствовать надо мной, но еще и надругаться.

– Разве цезарь не знает, что придает Агриппине столько отваги? – спросил шепотом Нерона Тигеллин.

– Право, не знаю, – ответил Нерон, – разве только что она с самого моего детства привыкла всегда встречать во мне покорного сына.

– Нет, – сказал Тигеллин, – это потому, что Паллас держит ее руку, и потому что...

Он остановился.

– Паллас? Что такое Паллас? – сказал император. – Бывший раб – и больше ничего. Его я не боюсь! Я могу завтра же удалить его – дать ему отставку. Но что ты еще хотел мне сказать?

– Я хотел сказать моему цезарю, что если Агриппина чувствует себя сильной, – шепнул Тигеллин на ухо Нерону, – то вследствие того, что Британник жив.

– Британник! – повторил Нерон, но больше не сказал ни слова, – только лицо его стало мрачнее черной тучи.

## Глава IX

Трудно было бы найти в Риме юношу, судьба которого была бы печальнее участи сына Клавдия и достойнее сожаления. Блестящим успехом увенчались коварные происки честолюбивой его мачехи, добившейся того, что Британник, прямой наследник престола после последнего цезаря, был нулем во дворце своих предков. Отведенные для него вместе с немногочисленной его свитой апартаменты находились в самой отдаленной от императорских палат части обширного дворца, и только в очень редких случаях дозволялось Британнику быть гостем на банкетах и празднествах, так часто наполнявших музыкой, пляской и весельем роскошные залы молодого императора. В обращении Агриппины с пасынком обнаруживалась какая-то загадочная нервность. Она, то оттолкнуть его от себя с сурово надменным видом, то привлечь к себе и для этого начинала осыпать его нежностью и ласками, словно желала этим загладить свою вину перед ним. Но для Британника эта нежность и эти ласки мачехи были во сто раз противнее ее суровости и часто, не умея скрывать своих настоящих чувств, он очень ясно выказывал ей это, чем, разумеется, только вредил себе. Точно также и Нерон, хотя и третировавший его по большей части с высоты своего величия, часто однако ж в душе желал бы видеть в нем побольше теплых братских чувств к себе. Единственной отградой Британника была его дружба с горячо им любимой сестрой, императрицей Октавией, в откровенных беседах с которой он всегда отдыхал душой и у которой находил себе убежище от тех ненавистных шпионов, какими с самого нежного его возраста постоянно старалось окружить его дальновидное честолюбие Агриппины.

Был однако ж среди окружающих один человек, которому Британник вполне доверял и которого любил искренно. Это – центурион преторианской гвардии Пуденс, постоянно находившийся во дворце на карауле то в одном месте этого обширного здания, то в другом. Впрочем, кроме Пуденса Британник имел счастье найти себе также и среди своих сверстников одного очень преданного друга, которого и сам он горячо любил, в лице старшего сына Веспасиана, Тита. Тит был всего на один месяц старше Британника. С детства мальчики-ровесники вместе учились, вместе и играли. Ничтожество в смысле значения политического рода Флавиев, от которого вел свое происхождение Веспасиан, было одной из первых причин, почему Агриппина выбрала Тита в товарищи сыну Клавдия. Ничто никогда не прерывало этой дружбы двух молодых людей и даже впоследствии, когда Тит стал уже императором, он сохранял неизменно самое теплое воспоминание о юном друге, так безвременно погибшем на заре жизни, и в память ему воздвиг конную статую.

Как-то раз, проходя дворцовым садом, Тит увидел мальчика-раба, делавшего неимоверные усилия, чтобы заглушить и сдержать стоны и рыдания. Вид этого бедного ребенка тронул юношу. Не приученный, подобно другим римским молодым аристократам той эпохи, гнушаться разговоров с рабами, в которых, благодаря наставлениям своего отца и Сенеки, видел, напротив, таких же людей, как и другие, он остановился пред мальчиком и спросил его:

– Кто ты и о чем плачешь?

– Меня зовут Эпиктетом, – отвечал ребенок, – и я принадлежу к числу рабов императорского секретаря Епафродита. Сейчас я упал и очень сильно ушиб больную ногу. Однако постараюсь перенести эту боль мужественно.

– Настоящий стоик! – сказал Тит. – Но что с твоей ногой?

– Я слаб и уродлив и не мог быть полезным рабом, – сказал мальчик, – и по этой причине мой господин решил обучить меня философии и приставил в качестве книгоносца к своему сыну, который посещает лекции философа Музония Руфа. И вот Музоний, по своей доброте, позволяет мне садиться на пол, где-нибудь в уголке, и слушать, что он преподает своим ученикам. Пока я еще не стоик, но приложу все усилия, чтобы со временем стать им.

– Все это прекрасно, но ты еще не сказал мне, как случилось, что ты хромой?

Эпиктет слегка покраснел.

– Восемь недель назад, – начал он, – я проходил мимо дверей триклиниума, как вдруг в это самое время вышел оттуда один из рабов с подносом с стеклянными кубками и сосудами в руках и, наткнувшись на меня, уронил часть посуды и разбил. Вину за разбитые вещи он свалил на меня, и Епафродит дал приказание вывихнуть мне одну ногу. Мне было ужасно больно; тем не менее, помня учение доброго Музония, я всячески старался не кричать и только раз не вытерпел и закричал: «Если будете так и дальше вертеть мне ногу, то, чего доброго, сломаете ее». Но никто не обратил внимания на мое замечание, а действительно кончилось тем, что ногу мне сломали. Однако тогда я не плакал, и мне очень стыдно, что я имел сегодня слабость поддаться такому постыдному малодушию.

– Бедный мальчик! Пойдем со мной: я отведу тебя к Британнику. Он сострадателен и добр и, может быть, попросит императрицу Октавию принять в тебе участие.

И Эпиктет заковылял вслед за Титом, который вскоре привел его к Британнику. Мужество мальчугана очень понравилось принцу; он его приласкал, и с этого времени Эпиктет часто бывал его гостем, причем нередко передавал молодым людям то, чему в своих лекциях учил стоик Музоний. Этими беседами был положен первый зачаток будущему стоицизму Тита.

Другого доброжелателя Британник нашел себе, как это ни казалось странным, в красавице Актее. Несколько двусмысленное положение этой женщины при дворе Нерона в первое время его царствования, – положение, греховность которого она, по своему воспитанию, не могла понять – не лишало ее ни нравственной чистоты, ни природного добродушия. Привязанностью императора к себе она не кичилась, и если когда пользовалась влиянием на него, то единственно, чтобы доставить облегчение другим. К Британнику Актея чувствовала большую жалость и не раз против себя возбуждала даже гнев императора своим заступничеством за него. Вместе с тем ей все-таки удалось добиться от Нерона некоторого ослабления строгого надзора, каким постоянно старались окружить юношу, за что Британник, со своей стороны, чувствовал к ней большую привязанность.

Британник, как и отец его, имел большую склонность к занятиям по истории и ни в чем не находил большего для себя удовольствия, как слушать рассказы Тита, слышанные последним от своего отца Веспасиана, о военных подвигах доблестных римских войск при покорении Британии. Однажды он даже упросил центуриона Пуденса пойти с ним навестить старика Карадока – британского военачальника, с успехом боровшегося в течение целых девяти лет против вторжения римлян в Британию. Старый воин очень обрадовался, увидав у себя в гостях сына императора, пощадившего ему жизнь из уважения к его храбрости, и скоро привел юношу в восторг своими рассказами о друидах, о Моне, о силурийских быстрых реках, об охотах на волков и диких кабанов среди дремучих лесов и топких болот. А пока старик таким образом занимал юношу повествованиями, Пуденс, не отрывая глаз, любовался дочерью старого воеводы, златокудрой и с голубыми глазами Клавдией, которая, с своей стороны, говорила ему о далекой, милой родине на берегах серебристого Северна.

Постепенно беседы с Карадоком пробудили в Британнике желание ближе познакомиться с Авлом Плавтом, покорителем южной части далекого острова. Плавт при дворе находился на самом хорошем счету, и ничего потому не могло быть легче для Британника, как получить разрешение посещать дом всеми уважаемого полководца. Здесь, в доме Плавта, юноша впервые увидел и его жену Помпонию Грэцину – женщину, справедливо считавшуюся образцом верной дружбы, женского целомудрия и скромности. Близкий друг в дни первой молодости внучки Тиверия, Юлии, несчастной жертвы жестокости Мессалины.

Помпония не снимала с самого дня смерти Юлии траурной одежды и даже, как гласила, хотя и неверно, молва, никогда будто не улыбалась.

Впрочем, и на самом деле улыбка лишь весьма редко появлялась на крупном лице Помпони; но и без улыбки в этом лице, в его блаженно спокойном и бесконечно добром выражении, было что-то необычайно хорошее и привлекательное. Она совсем не походила ни складом ума, ни воззрениями и чувствами, ни даже внешним обликом на других римлянок своего круга. Она не румянилась и не белилась; не носила высоких замысловатых причесок, никогда не пудрила волос золотой пудрой, не душилась восточными ароматами. Как в образе жизни, так и в одежде Помпония отличалась необыкновенной простотой. Редко посещала она многолюдные собрания и празднества, ограничивая свои выезды немногими домами некоторых наиболее добродетельных и честных сенаторов. Порок чувствовал себя устыженным в присутствии этой женщины и невольно краснел; римские матроны легкомысленного поведения, падкие до вольных разговоров, при ее появлении почтительно замолкали, расфранченные щеголи старались держаться скромнее. Но, отдавая такую дань невольному уважения, данники в то же время в душе завистливо шипели и тайком распускали про Помпонию слухи, более или менее клонившиеся к тому, чтобы повредить ее завидной репутации. Между прочим, был распушен слух, будто втайне она христианка.

– Ну, что за беда, если оно и так, – рассуждали об этом некоторые благородные римлянки высшего круга. – Разве сам Нерон не воздает божеских почестей какой-то ассирийской богине? Да и обворожительная жена Отона, Поппея Сабина, как говорят, иудеянка.

– Иудеянка! Быть иудеянкой еще очень почтенно. И сестра Агриппы, прелестная Береника, тоже примкнула к иудейству. Впрочем, все это еще ничего; но быть христианкой! Уж одно это слово в порядочном человеке должно возбуждать чувство непреодолимого отвращения. Одни фригийские рабы-беглецы способны примыкать к числу поклонников Онокоита – этого нового божества с ослиной головой.

Однако выдумка, распространенная злобой в виде зловредной клеветы, в данном случае оказалась правдой, Помпония действительно была втайне христианкой. Подолгу оставаясь в разлуке с мужем в то время, как он совершал военные походы, и ежеминутно беспокоясь за него в мучительной неизвестности, Помпония, которая большую часть этого времени оставалась в Галлии, случайно познала там через доверенную прислужницу Нерзису, обращенную в христианство одним из первых галльских миссионеров, учение об истинном Боге, и с этого времени жизнь ее, всегда чистая и беспорочная, стала жизнью святой.

Плавту было крайне приятно видеть в потомке цезарей его любознательность относительно всего, касавшегося истории родного края и особенно военных подвигов римлян. Он постоянно встречал юношу с искренним радушием и поторопился представить его своей жене, к которой Британник с первого же раза почувствовал полное доверие и особое влечение. Она совсем не подходила к тому типу римских женщин, с каким он был знаком с детства, и, казалось, целая бездна различий отделяла ее от таких личностей, какой была его мать Мессалина и какую он видел в своей мачехе Агриппине. При всей своей простоте Помпония казалась ему в сто раз привлекательнее, чем богато разодетые жены сенаторов и консулов, которых ему случалось видеть иногда в раззолоченных залах Палатинского дворца.

Однажды, более чем когда-либо под впечатлением сердечной доброты Помпони, он решился быть с ней вполне откровенным и поведать ей без всякой утайки и горькие свои испытания, и те недобрые предчувствия, какими часто томился. С участием выслушав юношу, Помпония начала говорить ему об обязанности человека покоряться высшей воле и прощать обидчикам и вместе с тем старалась доказать ему, что сознание спокойной совести даст ему в результате гораздо более полное счастье, чем какое вкусил бы он, занимая среди разного рода низостей и соблазнов шаткое и небезопасное место на престоле.

– Вы говорите, как философ Музоний, учение которого часто передает мне и Титу молодой раб, фригиец Эпиктет, – заметил ей на это Британник, – но в ваших словах есть что-то более утешительное и возвышенное.

Помпония тихо улыбнулась.

– Очень многое из того, чему учит Музоний, прекрасно и полно правды, – сказала она, – но тем не менее есть еще другая истина, более высокая и святая.

Британник задумался. Затем он спросил, но как-то нерешительно и робко:

– Разрешит ли мне благородная Помпония предложить ей один вопрос?

При этих словах бледное лицо Помпонии сделалось еще бледнее. Она задумчиво устремила взор куда-то вдаль и как будто о чем-то молилась в душе, и кротко затем заметила юноше:

– Но, может быть, вы спросите меня что-нибудь такое, на что отвечать я не найду себя вправе?

– Вы, конечно, сами знаете, что, бывая иногда у императора на его пиршествах, – начал Британник, – я не могу не слышать тех сплетен, какими постоянно забавляются в этих собраниях; и я уже давно заключил из разговоров некоторых из тех дам, что бывают на этих придворных празднествах, что очень многие из них почему-то питают к вам сильную злобу, и недавно еще я слышал, как уверяли они друг друга, что рано или поздно будет возбуждено против вас обвинение в приверженности к иноземному суеверию.

– Не в нашей власти помешать злым людям возводить на нас всякие обвинения, – отвечала Помпония, – но мы всегда можем праведностью жизни и беспорочным поведением уличить их в клевете.

– Наконец, они говорили, но это, вероятно, не более как злая и нелепая выдумка, – продолжал Британник, – будто вы, осмелюсь ли я произнести перед вами гнусное слово, – будто вы – христианка.

Помпония взглянула на Британника, и в этом взгляде сказалось столько кроткой жалости.

– А вы много ли знаете о христианах, Британник? – спросила она.

– Правду говоря, весьма мало; но друг мой Тит, которому больше меня приходится всюду бывать и много видеть и слышать, не раз мне говорил, что эти христиане собираются где-то по ночам, убивают невинного младенца и пьют его кровь, что их связывают страшными клятвами и что во время своих ночных сборищ, погасив лампы, они предаются в темноте неслыханным оргиям и поклоняются ослиной голове.

– Все это только одна гнусная ложь, Британник... я знаю об этих бедных христианах совсем иное, – сказала Помпония. – Скажите мне, читали вы некоторые сочинения Сенеки?

– Нет, не читал, – сухо ответил Британник и, помолчав, прибавил: – Сенека наставник Нерона. Это он уничтожил, действуя совместно с Агриппиной и Палласом, духовное завещание императора Клавдия, моего отца, и потому мне противно читать его сочинения. Да к тому же разве он настоящий философ, как Музоний или Корнут? У этих слова не расходятся с делом, а Сенека лишь пишет прекрасные вещи, сам же не верит в них.

– Что же делать с этим, Британник! В жизни часто встречаются люди, проповедующие великие истины и строгую нравственность, хотя поступки их и не согласуются с их учением; но ведь из этого еще не вытекает, чтобы то, чему они учат, было дурно. У меня есть несколько писем Сенеки к Луцинию; хотите, я вам прочту кое-что?

И достав свиток, Помпония вслух прочла следующие размышления:

«Бог близок к нам; Он с нами, Он внутри нас. В нас живет священный дух, который охраняет нас и следит за каждым нашим поступком, и нет того хорошего человека, в котором не было бы Бога».

«Какая польза в том, что мы утаим то или другое от человека? От Бога утаить нельзя ничего».

«Человек, если хочет жить для себя, должен стараться жить для своего ближнего».

– И много подобных же великих истин могла бы я указать вам в письмах Сенеки. Разве подобные мысли не полны правды и прекрасного значения?



– Недурно было бы, если б и поступки его были так же справедливы и прекрасны, – сухо ответил Британник. – Но что же общего между мыслями Сенеки и учением христиан?

– Очень много; с той только разницей, что глубокие мысли эти, столь редко встречающиеся среди поклонников богов, у христиан – общие места и что сверх того христиане веруют еще и в другие великие истины, от которых эти получают свой смысл и свое значение.

– Вы говорите, что они ослиной голове не поклоняются, а между тем они все же молятся какому-то Христосу или Хрестосу, принявшему позорную смерть на кресте.

– Страдание не унижает человека, а только возвышает, окружая его ореолом святости. Разве не воздают римляне божеских почестей Геркулесу, хотя они верят, что его живым сожгли на костре.

Британник молчал: он с младенчества был приучен смотреть на это воздание христианами божеских почестей человеку, казненному одной из самых позорных казней тех времен, не иначе, как на колоссальное сумасбродство, и теперь, разумеется, недоумевал перед столь новыми для него воззрениями Помпонии.

– А скажите, Британник, – прервала его молчание Помпония, – слышали вы когда-нибудь имя Сократа?..

– Да, и даже очень часто; Музоний, как не раз передавал мне Эпиктет, очень часто упоминает о нем на своих лекциях и постоянно указывает на него, как на совершеннейший образец хорошего человека.

– А какой смертью умер Сократ?

– Его отравили афиняне цикутой в тюрьме.

– Как преступника?

– Да, конечно.

– А разве это значит, что он и в самом деле был дурным человеком – тем злодеем, каким пожелали признать его? Поверьте, если б это было действительно так, философы не стали бы преклоняться перед ним с таким благоговением; не так же ведь они глупы.

– Действительно, я не подумал об этом, – сказал Британник и потом, помолчав с минуту, спросил: – Возможно ли, чтобы и все остальные нехорошие слухи, всюду распространяемые об этих христианах, оказывались лишь ложью?

– Чистейшая ложь, – подтвердила Помпония, – в чем, быть может, вы и сами, Британник, со временем убедитесь.

## Глава X

Часто удручаемый сознанием сделанной в отношении его несправедливости, Британник находил себе немалое утешение и в искреннем расположении к нему храброго и всеми чтимого покорителя Британии, и еще более в беседах с его кроткой женой. Помпония предупредила однако ж своего молодого друга, что всякая неуместная болтливость с его стороны о предмете их откровенных бесед могла бы без всякой пользы стать опасной для ее жизни, почему Британник все слышанное от нее о христианстве хранил в глубочайшей тайне от всех, кроме Пуденса, в котором, по многим признакам, сильно подозревал последователя того же высоконравственного учения, о котором Помпония с таким благоговением говорила ему.

Дня через два после разговора с женой Плавта он спросил у Пуденса, какого он мнения о христианах.

При таком внезапном вопросе Пуденс смутился и как бы с испугом взглянул на молодого принца; однако ж, оправившись, он ответил ему довольно холодно и сухо:

– В Риме христиане – люди смиренные – жестоко гонимы, и большинство смешивает их с иудеями; но хотя и среди иудеев есть немало людей хороших, тем не менее очень многие христиане вовсе не из иудеев.

– Правда ли, что они такие презренные злодеи, за каких их все принимают?

– Нет, неправда. Разумеется, при других условиях ничто не могло бы помешать человеку называться христианином и вместе с тем быть человеком дурным; но в Риме исповедание христианской веры сопряжено с такими опасностями, что едва ли кто пожелал бы разыгрывать мнимого христианина. Но ложь, как вам самому небезызвестно, и вообще всякая неправда проникает всюду и царит везде, а потому и в том, что рассказывают про бедных христиан, нет и десятой доли правды.

Пуденс считал пока еще преждевременным посвящать Британника в ту тайну, что его невеста, дочь Кардока, Клавдия, приняла негласно христианство еще в Британии и что он сам очень усердно занимался в настоящее время изучением догматов ненавистной секты.

После этого Британник при первом же свидании с Помпонией пожелал знать, имеются ли какие-нибудь сочинения, где излагалось бы учение о христианском вероисповедании.

– Есть древнеиудейские книги, признанные и христианами священными, – сказала Помпония. – Однако в Риме мало кто читает их, да и то скорее из одного любопытства, так как они переведены на греческий язык уже лет четыреста.

– Да неужели же ни один из самих христиан ничего не написал по этому предмету?

– Сомнительно; христиане, как вы и сами знаете, люди по большей части очень бедные, а много есть и таких, которые совсем безграмотны. Но между ними есть один учитель, проповедник Павел, и многие из тех, кому довелось слышать его в Эфесе или в Афинах и Коринфе, признают единогласно, что его слово действует как что-то живое. Впрочем, даже и он пока еще ничего о христианстве не писал, если только не считать двух коротких посланий к фессалоникийским христианам; но послания эти скорее простые случайные письма, мало касающиеся как жизни самого Христа, так и веры в него. Письма эти хранятся в настоящее время у меня, и если хотите, я могу отчасти познакомить вас с их содержанием.

Молодой человек был глубоко поражен, услышав те прекрасные наставления, те увещания вести жизнь трудолюбивую и целомудренную и любить ближнего, как самого себя, с которыми его познакомила Помпония, прочитав ему некоторые места из двух посланий апостола Павла к фессалоникийцам.

– И это говорит один из тех людей, о жестокости которых рассказывают такие возмутительные вещи! – воскликнул Британник. – Очевидно, мир, Помпония, и в самом деле переполнился через край всякой ложью. Но как бы хотелось мне поговорить с кем-нибудь из таких

учителей. Нельзя ли вам ввести меня в общество христиан; это не трудно для вас, а для большей безопасности я переоденусь. Таким образом, мое посещение к христианам останется тайной для всех и даже для Пуденса. Он в настоящее время, впрочем, так счастлив возможностью часто видаться со своей златокудрой Клавдией, так как она гостит теперь у вас, что ему, кажется, ни до чего нет дела, – с улыбкой прибавил юноша.

– Очень жаль, что здесь нет Аквилы, – сказала Помпония, – с ним вы могли бы поговорить; но он был изгнан из Рима вместе с остальными иудеями эдиктом покойного императора. Ведь он и его жена Приска, оба хорошо знали Павла и часто говорили, что он обещал побывать в Риме. Конечно, я не могу быть достаточно осторожной, но я постараюсь устроить так, чтобы вам представился случай повидать старшину римских христиан Лина и поговорить с ним.

– Да неужели, Помпония, этот Иисус, в котором христиане видят Бога, как вы говорите, – то же самое лицо, что Христос?

– Да.

– А нет ли теперь в Риме кого-нибудь, кто видел его?

– Он был предан смерти двадцать с лишком лет тому назад, – набожно склонив голову, отвечала Помпония. – Это случилось при императоре Тиверии. Но ученики его, которых он назвал апостолами, то есть благовестителями, были в то время еще люди молодые и живы до сих пор.

– А этот Павел – видел его?

– Да, но только в небесном видении, а не тогда, когда Христос, обходя Палестину, учил об истинном Боге. Один любимейший из его учеников в настоящее время находится в Иерусалиме, а когда-нибудь будет, быть может, и в Риме.

– Расскажите же мне что-нибудь о самом Иисусе, – вы, наверное, знаете хорошо его жизнь. Но сперва объясните, как могло случиться, что человек простого звания, каким, по вашим словам, был Иисус, удостоился божеских почестей?

– Страдание во имя ближнего и ради его спасения, какое Он принял, не может не окружить совершившего столь великое дело ореолом, – проговорила Помпония. – Даже в греческой мифологии рассказывается о богах, принимавших человеческий образ для служения людям. Разве не воспевали поэты подвиг Аполлона, пасшего в качестве раба стада Адмета? Или же подвиг Геркулеса, служившего работником у Эвристэя? Чего же странного, если истинный Бог захотел открыться человеку в образе же человека. И не говорит ли нам Платон, что человек познает Бога не ранее, чем Он явится ему в образе страждущего человека?

– Но что именно заставило учеников Христа признать в нем Бога? – спросил Британник.

Тут Помпония подробно рассказала молодому принцу о религии иудеев, сохранивших в течение многих веков познание истинного Бога и веру в пришествие обетованного избавителя; а также и о пророчествах относительно этого пришествия и о приходе Предтечи. В следующее же посещение Британника она рассказала ему многое из жизни самого Христа; рассказала о некоторых совершенных им чудесах и, наконец, обо всех обстоятельствах как Его смерти на кресте, так и воскресения из мертвых на третий день.

– Христос учил, – сказала она в заключение, – как еще никто никогда не учил; совершал такие чудеса, каких никто до него не совершал, и наконец воскрес на третий день после смерти. Даже римский центурион бывший на Голгофе на страже во время распятия, и тот, возвратясь домой в Иерусалим, сказал: «Воистину человек этот – Сын Божий».

Британник чувствовал себя потрясенным наплывом новых чувств. Как и большинство молодых римлян, он находился чуть ли не в полном неведении относительно вопросов веры в отжившую свое время мифологию. Стоицизм же, хотя и давал некоторые полуистины, был для него чересчур сух и сурово возбранял такие чувства, которые он признавал естественными и далеко не предосудительными. Но здесь, в христианском учении он услышал, наконец, такие

истины, которые, вознося человека в чистейшую сферу духовной жизни, нравственно укрепляя его и очищая, в то же время бодрили человека, утешали его и успокаивали.

Вдобавок он имел счастье услышать впервые эти святые истины из уст не простых невежественных рабов, а из уст одной из самых образованных женщин того времени, благородной римлянки, говорившей по-латыни чистейшим языком цicerоновских времен.

Своему другу Титу Британник не сказал ни слова о своей тайне, видя в ней тайну еще и других; но сестре Октавии, от которой у него не было никаких секретов, он чистосердечно открылся в своих новых религиозных чувствах.

Удостоверившись, что вблизи не было шпиона, что никто их не подслушивает, никто не подглядывает за ними, он начинал ей рассказывать все то, что сам слышал и узнал, а также и о том отрадном чувстве, какое постепенно все глубже и глубже проникало в его душу.

Не решаясь открыто примкнуть к числу исповедников новой веры, и брат и сестра все-таки находили для себя в том, чему учила их Помпония, неиссякаемый источник светлых надежд и душевного мира, и для них эти первые шаги к новой жизни были той розовато-бледной полосой еле мерцающего света, которая предшествует заре нового дня.

Чем ближе знакомились и брат и сестра как с текстом, так и со смыслом «Благой Вести», тем все более и более убеждались они по некоторым признакам, что большинство рабов во дворце цезаря тайные христиане. Слепо полагаясь на честность молодого Британника, Помпония не побоялась открыть ему, что слово *ἰχθύς* – рыба – служила чем-то вроде пароля среди греческих христиан.

Скоро брат и сестра заметили, что стоило им в разговоре в присутствии какого-либо из рабов произнести это слово с известным ударением, как тотчас же те из них, которые были посвящены в новое учение, вздрагивали и хотя бы только на одно мгновение устремляли на них изумленно вопрошающий взгляд. После этого Британник, чтобы окончательно удостовериться в справедливости своей догадки, очень часто нарочно произносил, проходя мимо того или другого из подозреваемых им слово *ἰχθύον* или *pisciculus* – то есть маленькая рыбка. И когда в ответ слышал произнесенное тихим голосом это же слово, всяким сомнениям в нем на этот счет не оставалось места.

Таким образом, пока с каждым днем в душе Агриппины усиливались и недовольство и гневное раздражение, пока Сенека и Бурр терялись все более и более в целом океане опасений и тревожных сомнений за будущее, пока Музоний, Корнут, Тразей и другие философы-стоики убеждались все более и более в необходимости искать спасения в мужестве отчаяния, пока Нерон, предаваясь необузданному разгулу страстей, уходил все глубже и глубже в вязкую тину пороков – жена его Октавия и Британник постепенно все более и более приближались к Неведомому Богу, все более проникаясь той истиной, что, пока море житейских горестей и невзгод не смешивает своих горьких вод с водами моря преступлений и пороков, человек и в горе и в несчастье может испытывать блаженство безмятежного душевного спокойствия.

Такое спокойное и кроткое настроение духа, постоянно замечаемое за последнее время как в Октавии, так и в Британике, не могло не вызвать некоторого недоумения у Нерона, а еще более у Агриппины.

Не понимая, чтобы можно было так беспечно предаваться развлечениям – играть в мяч или бороться не без успеха с здоровяком Титом – и при этом заливаться тихим искренним смехом и в то же время сознавать себя лишенным всех своих прав, и император и его мать уже начали было подозревать, не составил ли какой заговор в пользу Британника.

Однако эти подозрения вскоре рассеялись. А Октавия – откуда брала эта несчастная женщина, обижаемая и оскорбляемая на каждом шагу, и удивительную кротость и ту покорность, с какой переносила грубое и нередко жестокое обращение с ней мужа? В чем заключалась тайна их радостного душевного настроения среди разного рода угнетений и обид?

## Глава XI

А теперь перенесемся из роскошных зал палатинского дворца и богатых домов сильных временщиков и благородных патрициев в более демократическую часть Рима с ее грязными притонами и невзрачными и неопрятными домами – жилищами того сброда всяких народных стей, что являлся главным контингентом народонаселения столицы мира и запруживал собой ее улицы и площади.

В Велабруме эти отбросы наций горланили, называя для продажи соленую рыбу и устрицы; на Эсквилине шатались по харчевням и по баням низшего разряда; в Субуре гурьбами стекались с гиканьем и руганью в те притоны бесшабашного разгула и разврата, какими так печально прославилась эта часть города. Среди всей этой смеси народов и племен попадались и греки, и галлы, и фокусники-фригийцы, египтяне с их национальным музыкальным инструментом в руках, и туземные нищие, толпившиеся целый день то около одного моста, то около другого и очень систематически производившие нападения как на прохожих, так и на проезжих, – скифы, испанцы в своих широких длинных плащах, суровые на вид германцы и, наконец, масса иудеев, которым был даже отведен особый квартал по ту сторону Тибра. Словом, как улицы, так и площади богатого Рима постоянно кишели праздными тунеядцами, бедняками той эпохи, существовавшими исключительно разного рода подаяннем. Но и среди этого полуголодного и полуоборванного люда трудно было бы встретить человека, более жалкого на вид, чем один юный фригиец, бесцельно бродивший однажды в жаркий полдень около форума. Бледный и исхудалый, весь в грязи и в жалких лохмотьях, он, казалось, был бездомным чужеземцем, изнемогавшим от голода и усталости среди миллионного населения города, погрязшего в эгоизме и разврате.

Пока он так бродил среди опустелого форума (час был полуденный, и большая часть населения предавалась послеобеденному отдыху), раздумывая, очевидно, что бы такое предпринять ему, чтобы заглушить в себе муки голода, через форум в сопровождении мальчика-раба прошел какой-то молодой патриций. Несчастный скиталец в первое время не обратил на него никакого внимания, и лишь через несколько уже времени любопытство его было возбуждено сперва ударами топора, вдруг раздавшимися невдалеке от него, а затем и вторичным появлением того же молодого человека, со всех ног улепетывавшего теперь с форума с маленьким рабом, едва поспевавшим за ним. Пройдя несколько шагов к месту, защищавшему вход в лавку серебряных дел мастера, и заметив валявшийся на земле топор, он поднял и принялся его рассматривать, как вдруг на него набросилось несколько полицейских, и не успел он опомниться, как его арестовали.

– За что? Какое преступление совершил я? – спросил он по-гречески.

– Ах ты вор-бездельник! И ты еще смеешь спрашивать, когда тебя поймали на месте преступления с топором в руках?

Плохо зная латинский язык и вдобавок немало ошеломленный, молодой человек не мог понять, в чем именно заключалось преступление, в котором его обвиняли; но в толпе, не замедлившей собраться около него, оказались двое-трое понимавших по-гречески и поспевших объяснить ему, что его считают виновником давно замеченной постоянной кражи свинца с кровли серебряных дел мастера, в которой до сих пор всегда обвиняли бедняков этого квартала, и что теперь, пойманного на месте преступления, его немедленно же препроводят на суд к городскому претору, где, вероятно, ему придется очень плохо, и что он должен будет считать себя очень счастливым, если отделается тридцатью ударами кнута. Всего же скорее, его приговорят к выжиганию клейма, а не то, ввиду настоятельной необходимости показать пример строгости, даже и к смертной казни через распятие на кресте.

Плача и ломая себе в отчаянии руки, несчастный мог только словами уверять в своей невинности в краже; но на все его уверения и клятвы толпа отвечала насмешками и диким гиканьем.

– Вот теперь посмотрим, как-то тебе понравится, когда выжгут на лбу раскаленным железом три буквы, – посмеялся кто-то из толпы. – Вряд ли такое украшение придаст твоему лицу в глазах молодых девушек больше красоты.

– Чей ты раб? – спросил его другой. – Можешь теперь проститься годочка на два с лучами дневного света; тебя отправят работать в кандалах, в какую-нибудь подземную копь.

– Не думаю, чтобы он был чьим-то рабом, – заметил третий. – Слишком уж голодным волком смотрит он, да и весь в лохмотьях.

– Ну, так беглец, но как бы то ни было, а только не избежать ему хорошей пытки, если он не докажет своей невинности. И из-за такого-то бездельника обвиняли в воровстве нас, честных граждан! – кричала толпа, убегая вслед за полицейскими с их арестантом.

Однако не успели они пройти и ста шагов, как увидели спускавшегося им навстречу с веминальского холма центуриона Пуденса в сопровождении Тита. При виде центуриона преторианской гвардии и юноши с золотой буллой на шее толпа почтительно расступилась. Проходя мимо арестованного юноши, сын Веспасиана, тронутый жалким видом арестанта и со собственным ему добросердечием, попросил Пуденса разведать, какая беда стряслась над несчастным. Полицейские почтительно объяснили центуриону, в чем дело.

– Что можешь ты сказать в свое оправдание? – обратился Пуденс к юноше.

– Я невиновен, – ответил арестант по-гречески, – топор этот не мой. Я только поднял его. Скорее же он принадлежит тому молодому человеку, который работал им и затем, как я сам видел, бежал с форума в сопровождении маленького раба.

При этих словах Пуденс переглянулся с Титом; не более, как за несколько минут они в самом деле встретили в одной из улиц, по которым проходили, молодого человека с маленьким рабом, откуда-то торопливо бежавшего и на их глазах скрывшегося в доме одного знакомого им римлянина.

– Следуйте за мной, – сказал он полицейским, – мне кажется, что я могу вам помочь напасть на след настоящего виновника кражи. Этот же юноша, хотя вид его и не говорит особенно в его пользу, в этой краже не повинен.

И Пуденс, сопровождаемый толпой, не совсем довольной таким оборотом дела, повел полицейских к тому дому, за дверью которого скрылся подозреваемый им молодой человек. Дверь в прихожую была отперта, и на пороге забавлялся маленький раб, прыгая то туда, то сюда через порог.

– погоди скакать и кричать, – остановил ребенка старший из полицейских, – ответь-ка лучше на некоторые вопросы.

– Знаешь этот топор, мальчик? – спросил его Пуденс.

– Разумеется, знаю, – не запинаясь, ответил мальчуган, по малолетству не сумевший сообразить, в чем дело. – Это наш топор; мы только что уронили его...

– Дело ясно, – сказал Пуденс, – и я согласен быть свидетелем. Но теперь вы должны освободить вашего арестанта.

Молодой человек, действительный виновник кражи, был немедленно арестован. Однако ж отец его, во избежание позора, поспешил затушить дело и не доводить его до суда, дав тайком крупную взятку как блюстителям закона, так и серебряных дел мастеру.

Толпа разбрелась, и Пуденс с Титом отправились по направлению к палатинскому дворцу. Вскоре они услышали за собой чьи-то шаги и, обернувшись, увидели только что вырванного ими юношу.

– Что тебе еще надо от нас? – спросил Пуденс, отвечая на умоляющий взгляд оборванца. – Я выручил тебя из беды, ну и довольно с тебя.

- Я чужеземец и умираю от голода и усталости, – смиренно проговорил несчастный.
- Он нуждается в деньгах, – сказал Тит и подал ему милостыню.

Но незнакомец, преклонив колени, схватил полу ярко-красного плаща Пуденса и, поцеловав ее, воскликнул:

- Возьмите меня, господин, к себе; я готов быть вашим рабом и служить вам.
- Как тебя зовут?

– Онезим.

- Имя хорошее. Но кто ты? Надеюсь, однако, ты не беглый раб?

– Нет, господин, – не запинаясь, отвечал Онезим, для которого, как и для большинства людей его расы, ложь не представлялась особенно предосудительным поступком. – Я проживал в Колоссах, когда меня захватил силой один работорговец; но мне удалось бежать.

- Ну и что же: ты желал бы вернуться обратно в Колоссы?

– Нет, господин; я сирота, родных у меня нет; я предпочел бы остаться здесь, чтобы зарабатывать себе средства к пропитанию.

– Возьми его, – шепнул на ухо Тит центуриону. – В твоём доме найдется место для одного лишнего раба. И он почему-то нравится мне.

Однако ж Пуденс, видимо, колебался.

– Но подумай только – раб-фригиец, хуже ведь этого ничего быть не может. Народ самый ненадежный.

- Можно будет исправить розгами, если окажется бездельником.

– Так-то так; но ведь тебе известно, что наказывать своих рабов с помощью бича не в моих правилах.

Оба говорили вполголоса и слышать их разговора юноша не мог; но он заметил колебания центуриона и, поспешив наклониться к земле, быстро провел пальцем по песку, как бы чертя что-то. Но, как ни быстро было это движение юноши, Пуденс все-таки успел разглядеть на песке абрис рыбы, который Онезим немедленно же и стер ладонью.

– Следуй за мной, – проговорил центурион, который по этому знаку понял, что Онезим христианин. – Я живу скромно и рабов у меня немного, но ввиду того, что смерть очень недавно похитила у меня одного из моих слуг, который пока еще никем не замещен, то очень может быть, что мой домоправитель найдет возможным дать тебе это вакантное место.

## Глава XII

Действительная же история молодого Онезима была следующая. Сын когда-то зажиточных, но впоследствии вдруг обнищавших родителей, он рано остался сиротой и был продан кредиторами покойного отца в рабство к одному богатому фабриканту пурпуровой ткани; однако ж тот вскоре перепродал его, убедившись, что из мальчика, ввиду его весьма несомненных наклонностей к празднотам, едва ли когда выйдет трудолюбивый и полезный работник. От фабриканта Онезима купил некий живший в Колоссах добросердечный человек Филемон, которого тронул жалкий вид хорошенького отрока, выведенного на рынок для продажи. Спустя года три или четыре после этого Филемон, временно находясь с своим семейством и большинством домочадцев в Эфесе по случаю одного из языческих празднеств, однажды случайно услышал здесь проповедь Павла. Как на него, так и на многих из его окружающих слово апостола произвело сильное впечатление: Божья благодать коснулась их сердец, и спустя известный срок, назначенный для необходимого посвящения в учение христианской веры, они были приобщены к вновь нарождавшейся церкви.

Но Онезим не был в числе тех рабов, которые приняли святое крещение вместе с Филемоном и членами его семейства, хотя и он, в качестве оглашенного, был до известной степени уже посвящен в догматы христианской веры. Живя с детства в доме этих добрых людей, где, кроме хорошего обращения, добрых наставлений и ласки, Онезим ничего другого не видел, он тем не менее часто скучал, тяготясь монотонностью жизни в Колоссах, сонном городе, в то время уже заметно приходившем в упадок. Он тосковал по шумной и богатой зрелищами жизни в Эфесе, жаждал тех сильных ощущений, какие не раз испытывал в его амфитеатрах, любясь состязаниями колесничных наездников или игрой актеров и мимов и с увлечением юноши вторя рукоплесканиям толпы. Но всего сильнее желал он видеть чудный Рим, куда влекли его заветные мечты, порожденные в нем частыми рассказами о великолепии и широком разгуле столичной жизни. Страстно увлекающаяся природа азиатского грека в нем громко говорила. Раб по своему теперешнему положению, он по рождению был, однако ж, человек свободный и прекрасно знал, что даже и рабам нередко удавалось проложить себе дорогу к высокому положению, к почестям и славе, и часто спрашивал себя: почему бы и ему не добиться того же? Он был красив собой, вдобавок силен, здоров и молод, и, следовательно, не надеяться на успех в жизни не мог.

На ловца и зверь бежит, и скоро подвернулся искусительный случай. Однажды, по окончании ярмарки в Леодицее, Филемон, занимавшийся красивым ремеслом, получил довольно крупные деньги. Не имея до сих пор никаких оснований не доверять Онезиму, он не нашел нужным скрыть от юноши, где именно хранились в его доме эти деньги. Но на этот раз Онезим обманул его доверие; воспользовавшись его временной отлучкой в Гиерополисе, он украл из этих денег несколько золотых монет в количестве, по его соображениям, достаточном, чтобы, в случае погони, убежать в Рим, и скрылся в Эфесе. Здесь в первые дни он весь отдался удовольствиям: посещал различные зрелища, языческие капища и увеселительные места многолюдного и богатого города; однако, после полного удовлетворения своей ненасытной жажды развлечений, его потянуло домой, в скромную и приветливую семью Филемона. Но он все еще не хотел покидать веселого города, да и боялся вернуться, зная, какому жестокому наказанию подвергается раб за бегство, считавшееся одним из самых крупных преступлений. Конечно, Филемон был человек чрезвычайно добрый, тем не менее и при всей своей доброте мог, из уважения к законам государства, счесть своим долгом предать его, как вора и беглеца, в руки правосудия. При этом он невольно представлял себе те страшные пытки и истязания, какие неминуемо ждут его в таком случае, и одно уже это представление бросало в дрожь, в жар и холод изнеженную природу восточного человека.



Деньги, добытые столь неблагоприятным способом, были скоро растрчены не лучше. Часть их он проиграл в кости, кубы и другие азартные игры, часть промотал, награждая ими товарищей своей разгульной жизни, а остаток же у него украли в одном из ночлежных домов. Без денег и усталый как нравственно, так и физически, он побрел в городской порт и нанялся там рабочим на галеру, готовую к отплытию в один из итальянских портов. Высадившись в Италии на берег, он пошел дальше и, кое-как питаясь по дороге подаванием, добрался наконец до Рима, где, после долгих поисков какой-нибудь работы, в продолжение которых жил бездомным скитальцем, укрываясь на ночь под тот или другой портик или свод арки и питаясь одной поленотой, купленной на случайно брошенную ему не без пренебрежения милостыню, счастливая случайность столкнула его с Пуденсом и этим спасла от отчаяния и окончательной гибели.

Нирэй – вольноотпущенник Пуденса и его домоправитель – был не прочь приобрести бесплатно молодого и красивого раба, могшего быть полезным работником в доме его господина, у которого Онезим встретил и приветливое обхождение, и добрые наставления. К тому же и юноша был в восторге от своего нового положения и потому, что находился среди кипучей жизни такого большого города, как Рим, и в таком доме, где как он скоро заметил, многие из рабов, находившихся под началом Нирэя, равно как и сам Нирэй, были христианами – обстоятельство, в котором, зная воззрения христиан, Онезим видел верный залог своей безопасности от искушений.

Но жажда развлечений и тут скоро одержала верх над благим намерением Онезима остепениться, и, постепенно, попав в кружок молодых рабов-язычников, он чаще и чаще стал поддаваться искушению пойти с ними посмотреть то пантомимные представления, отличавшиеся немалым цинизмом, то игру Париса или Алитура, двух знаменитых лицедеев и плясунов того времени, несмотря на частые увещания Нирэя и его дочери Юнии, а также и других христианских рабов Пуденса, остерегаться опасности подобных увеселений.

Но еще более пагубно действовало в смысле ожесточающего влияния на всех вообще, а на молодежь в особенности, это чудовищное зрелище гладиаторских упражнений и состязаний. Пока еще Онезим не имел о них понятия: в провинциях такие игры происходили сравнительно редко; да к тому же и Филемон всегда очень строго следил, чтобы ни один из его рабов не осмеливался посещать амфитеатр в дни гладиаторских представлений. Не совсем еще позабыв советы и наставления Филемона, которого продолжал любить по-своему, Онезим и в Риме долго крепился, всячески борясь с искушением принять соблазнительное приглашение некоторых своих приятелей пойти с ними вместе поглядеть на бой гладиаторов. Но наконец он и в этом не выдержал характера – и уступил.

В тот роковой для него вечер Онезим, возвратясь из амфитеатра, был уже не тем человеком, каким был до этого. Не в состоянии успокоиться и остыть после сильного возбуждения, вызванного в нем видом крови и последних предсмертных конвульсий павших в бою для потехи зрителям гладиаторов, он долго проворочался в своем ложе, прежде чем явился сон; но и во сне он все видел перед собой залитую еще дымящейся кровью арену, слышал раздирающие стоны, порой заглушавшиеся взрывами рукоплесканий обезумевшей толпы, и, весь в испарине, вскакивал и сквозь сон кричал не своим голосом. Наконец, после тревожного сна, в продолжение которого его то и дело преследовали и давили эти страшные кошмары, он проснулся усталый и разбитый, и в ушах его все даже наяву раздавался торжественный привет гладиаторов цезарю, и все слышалось страшное это нечеловеческое: «Ave, Caesar, morituri te salutant!»<sup>2</sup>

С этих пор Онезиму совсем опротивела тихая и мирная жизнь в доме Пуденса. Тяготясь своими обязанностями, хотя было их у него и немного, он стал относиться к ним небрежно и бывал счастлив только тогда, когда в кругу своих приятелей мог шататься по харчевням, где весь разговор ограничивался городскими сплетнями и скандалами, толками о заслугах того

<sup>2</sup> «Здравствуй, цезарь, тебя приветствуют обреченные на смерть».

или другого возницы в цирке или о преимуществах одних гладиаторов над другими, и где единственным времяпрепровождением были азартные игры и пьянство.

Такой образ жизни вскоре привел Онезима к тому, что он стал часто ощущать недостаток в деньгах, которые были ему постоянно нужны и на игру в кости, и на кутежи, и на другие развлечения, в каких проводила время большая часть рабов-язычников. Конечно, он мог бы легко заработать себе денег, так как его должность в доме Пуденса была необременительна и к тому же предоставляла в его распоряжение немало свободного времени; но он уже успел окончательно облениться, так что всякий труд казался ему теперь несносным.

Впрочем, несмотря на это, даже и среди худой атмосферы порока и разврата Онезим вспоминал порой, не без сожаления, о счастливых и мирных годах, проведенных им в доме Филемона, и в такие минуты им овладевало желание уйти от всей этой нравственной грязи в иную жизнь, где бы он мог вдохнуть в себя струю чистого воздуха.

Но, к сожалению, такие хорошие моменты бывали у него непродолжительны и приводили лишь к тому, что после них он старался еще глубже погрузиться в водоворот столичной жизни, словно хотел этим заставить себя не слышать еще пока довольно слабого в нем голоса совести.

А тем временем нужда в деньгах с каждым днем росла, так что, наконец, проиграв свои последние сбережения, он был доведен до крайности.

Укрav раз, он решился и вторично украсть.

Тут он стал всячески подкарауливать удобную минуту совершить задуманное. Случай не замедлил представиться, и Онезим, уловив полуденный час, когда все домашние, за исключением двух-трех рабов-христиан и отдыхавшего у себя в комнате Нирэя и его дочери, находились в отлучке на каком-то языческом празднестве, тайком пробрался в опочивальню самого Пуденса с намерением украсть у него денег. Он уже было отворил ящик, где Пуденс держал деньги на домашние расходы, как вдруг ему послышалось, будто в коридоре раздался легкий шорох чьих-то осторожных шагов.

Это были шаги дочери Нирэя, Юнии. Услыхав из своей комнаты, как кто-то, крадучись осторожно, пробирается коридором на половину ее господина, девушка встала и, выйдя в коридор, увидела Онезима, уже подходившего к дверям кабинета Пуденса. Неслышно последовала она за ним, но, дойдя до кабинета, остановилась в дверях. А между тем Онезим, открыв ящик, приостановился: в это мгновение ему каким-то образом припомнились слова Павла, слышанные им в доме Филемона: «Пусть тот, кто крал, больше не крадет, а пусть лучше трудится, работая своими руками». Однако нерешительность юноши длилась недолго: картина Субуры со всеми ее заманчивыми притонами заставила его забыть всякие другие воспоминания, и он уже прикоснулся к содержимому ящика, чтобы закончить начатое, как вдруг кто-то позади него чуть слышно произнес его имя.

– Онезим!

Второпях захлопнув ящик, он бросился к дверям и здесь столкнулся лицом к лицу с молодой девушкой, которая, печально склонив голову, стояла, прислонившись к притолоке.

– Юния! – воскликнул в ужase юноша.

– Тс! – приложив палец к губам, предостерегла его девушка и поспешила скрыться.

Пораженная до глубины души поступком юноши, к которому с самого начала их знакомства чувствовала большое расположение, она поспешила удалиться с своим горем в самый отдаленный конец тенистого сада. Но Онезим догнал ее.

– Неужели у тебя хватит жестокости, Юния, выдать меня? – спросил он, бросившись перед ней на колени.

Бледная и взволнованная, она тихо сказала:

– От моего отца у меня нет никаких тайн, Онезим, ты это знаешь.

– Но подумай: твой отец обличит меня перед Пуденсом и предаст суду. И тебе не жаль будет, если меня забудут до смерти бичами, а то, может быть, даже и распнут на кресте?

– Нет, Пуденс человек добрый и справедливый, – проговорила девушка, – он никогда не подвергает своих рабов никаким жестоким наказаниям.

– Но он может прогнать меня, наложив мне на лоб позорное клеймо, и уже этого будет довольно, чтобы я погиб навеки, – с горестью сказал Онезим.

– Видит Бог, Онезим, – начала она и вдруг остановилась в ужасе перед сказанным и не подозревая, чтобы Онезим когда-либо слышал учение христианской веры.

– Ты христианка, Юния, и я тоже христианин! – воскликнул обрадованный Онезим и поспешил нарисовать на песке монограмму Христа.

– Нет, ты не христианин, – возразила Юния, – христиане не крадут и не ведут такого образа жизни, как ты все это время.

– Следовательно, ты решила выдать меня! Но помни: теперь ты в моих руках. Христианство – иноземная ересь, строго преследуемая в Риме, и мне стоит донести префекту города...

– Низкий человек, более низкий, чем я думала о тебе даже до этой последней минуты, – сказала она. – Но разве ты не знаешь, – и глаза ее загорелись дивным огнем пламенной веры, – что христиане не боятся страданий, что даже девочка-раба, если только она вкусила благодать истинной Христовой веры, и та всегда готова бесстрашно пойти навстречу смерти.

Никогда еще не казалась ему Юния так чудно хороша, так обворожительна! Но вид гладиаторов, режущих холодно друг друга на куски, пробудил в нем все худшие инстинкты человека, успел породить в его душе черствый эгоизм и равнодушие к участи ближнего. Ужасная мысль промелькнула в голове его. Почему бы ему не избавиться от единственного свидетеля начатого им преступления?

– Итак, ты хочешь предать меня оковам, бичу, распятию на кресте и истязаниям, – сверкнув дико глазами, сказал он, подступив к ней.

Юния, закрыв лицо руками, проговорила сквозь слезы:

– Что велит мне мой долг, то я и обязана делать. Но скрыть это от моего отца я не имею права.

– Так умри же, если так! – воскликнул Онезим и уже схватил было девушку за плечо одной рукой, между тем как в другой блеснул нож, который, идя на кражу, он захватил с собой на всякий случай.

Но, к счастью, чей-то мощный кулак в эту самую минуту повалил его, и тяжелая нога наступила ему на грудь.

– Пощади его, отец! – взмолилась Юния.

Но Нирэй, вырвав кинжал из руки повергнутого на землю юноши, продолжал попирать его ногой. Лицо его дышало негодованием. Он понял увиденную им сцену совсем в ином смысле.

– Объясни мне, Юния, что привело сюда тебя и каким образом случилось, что ты здесь наедине с Онезимом? Какими лживыми уверениями вызвал он тебя на это свидание? Как осмелился он нанести тебе такое оскорбление?

Девушка рассказала отцу все.

Нирэй с презрением оттолкнул ногой несчастного юношу.

– А я-то иногда еще думал почему-то, что он втайне такой же христианин, – проговорил он в раздумье, – и даже когда-то мечтал видеть в нем со временем достойного мужа для моей Юнии. Вор! Убийца! Вот что значит давать в честном доме приют какому-то неизвестно откуда явившемуся рабу-фригийцу.

– Прости же, отец, его, чтобы и нам простились наши прегрешения, – продолжала упрашивать отца Юния.

– Да, покушение на жизнь самого дорогого для меня существа, на жизнь моей единственной дочери, я мог бы, так и быть, простить, если б заметил в нем чистосердечное раскаяние.

Но имею ли право скрыть правду от моего господина? Могу ли после всего этого оставить его в числе своих домочадцев?

– Прости его, мы все люди грешные, и многим ли он преступнее тысяч людей, которые однако ж не висят на кресте и не гниют в тюрьмах.

Онезим простонал.

– Право, уж и не знаю, как мне поступить, – проговорил Нирэй. – Однако ступай теперь к себе, дитя; вернись к своим женщинам и к своему веретену. Потом я еще раз поговорю с тобой об этом. А ты, несчастный, встань и иди за мной.

И, вернувшись с Онезимом в дом, Нирэй приказал двум доверенным рабам-христианам, как и он сам, связать юношу, заключить его в отдельное помещение и держать взаперти под строгим надзором до тех пор, пока он не обсудит хорошенько этого дела и не решит, как поступить с виновником.

## Глава XIII

Став императором, Нерон первое время был до того ослеплен блеском нового положения, что в продолжение первого месяца своего царствования ходил как бы отуманенный и только с трудом постепенно осваивался со своим величием и привыкал к мысли, что он император. Но раз постигнув и измерив весь объем своей неограниченной власти правителя величайшей в мире империи, юный император очень скоро вошел в свою роль самодержавного властелина; хотя ни делами государственными, ни вообще какими-либо заботами о благосостоянии своей империи он нисколько не обременял себя, предпочитая отдавать свое время только одним праздным развлечениям и удовольствиям.

Единственно, что тревожило иногда молодого императора среди его непрерывных кутежей и пиров, это ревнивое вмешательство его матери, с упорством отчаяния все еще силившейся удержать власть, видимо, ускользавшую из ее рук. Нелегко было ей отказаться от всех плодов, во имя которых, побуждаемая своим непомерным властолюбием, она решилась на столько злодеяний, и она всячески старалась поколебать в себе с каждым днем все более окрепнувшую в ней уверенность, что все ее труды и происки в этом смысле были напрасны. Могла ли она допустить мысль, чтобы этот семнадцатилетний, еле ставший на ноги юноша осмелился даже подумать о сопротивлении ей. Всегда неустрашимая и непреклонная в своих намерениях, не была ли она по отношению к нему, как твердый алмаз в сравнении с мягкой неустойчивой глиной? Отпрыск царственного рода, не стояла ли она с младенчества близко к таким родственникам, которые при жизни были обожаемы, а после своей смерти обоготворяемы. Но, на несчастье себе, Агриппина, при всей своей проницательности и при всем уме, не умела достаточно обуздывать бешеных порывов своего вспыльчивого и властолюбивого нрава, и таким недостатком сдержанности ускорила для себя минуту роковой развязки.

Не успел Нерон вступить на престол, как в нем уже стали обнаруживаться весьма несомненные признаки желания выйти скорее из-под контроля императрицы-матери. Паллас, главный сообщник и клевет Агриппины, очень скоро впал в немилость цезаря и был им удален. Сенека и Бурр, не страшась более ее гнева, старались всячески противодействовать ее влиянию. Искатели цезарских милостей и благоволения старались заручиться не только ее покровительством и защитой, сколько протекцией Актеи, да и сам Нерон, постоянно окруженный своими фаворитами, развратными молодыми аристократами, и толпой разного рода проходимцев, шутов и паразитов, с каждым днем все яснее и бесцеремоннее выказывал свое полнейшее равнодушие как к угрозам и приказаниям матери, так и к разумным ее советам, не без самодовольства щеголяя своей внезапно появившейся независимостью. Самолюбивая и гордая Агриппина была уязвлена и краснела даже наедине с самой собой при мысли, что ее, для Нерона ни перед чем не остановившуюся, могла вытеснить из сердца ее сына жалкая и ничтожная вольноотпущенница Актея и что ее влияние над ним могло превозмочь влияние изнеженных ничтожеств вроде завитого и раздушенного Отона. Как жестоко она ошиблась в своих расчетах! Первое лицо в империи при Клавдии, неужели же она извела мужа только для того, чтобы сделаться самой нулем в руках таких людей, даже ненавидеть которых она не могла, до того глубоко было ее презрение к ним?

Но жребий был брошен: уничтожить сделанного было нельзя. Оставалось ждать грозного часа расплаты за учиненное зло, а до тех пор по возможности осторожнее стараться двигаться на краю ужасной пропасти. Сорвав заманчивый плод, она убедилась, что он полон смертельной отравы.

А между тем сложить покорно с себя всякий авторитет в делах правления, не сделав, по крайней мере, хоть одной попытки удержать за собой некоторую власть, было свыше сил гордой и властолюбивой женщины. Сохранив пока еще за собой право иметь во всякое время,

когда бы она ни вздумала, доступ в кабинет императора, она нередко пользовалась им, с целью, ворвавшись к нему, осыпать его упреками, насмешками, а часто даже и угрозами. Перестав давно скрывать от сына, что Клавдий погиб от ее руки жертвой ее честолюбивых замыслов, она укоряла Нерона в неблагодарности, высказывала ему свое презрение, издеваясь над его изнеженностью и стараясь уязвить сарказмами, ставила ему в образец благородство и высокое мужество обиженного ею Британника, говорила ему, что он скорее годится в плохие актеры, третьестепенные колесничные ездоки или в третьеклассные певцы, нежели в императоры.

– И допустить, что в жилах твоих течет благородная кровь Домициев и цезарей! – кричала она, выходя из себя от злобы и негодования. – Какой ты император, – разве балаганный! В тебе нет ничего – не только величия цезаря, но даже мужества простого и благородного римлянина. Но не забывай, если ты император, то этим обязан мне и моим стараниям.

– Напрасно трудилась; лучше было бы оставить меня в покое и не возводить на престол, – проговорил угрюмо Нерон. – Удивительное удовольствие считаться императором и иметь тебя за спиной, подсматривающего мой каждый шаг и властвующей надо мной!

– Подсматривать! Властвовать! И это говоришь ты, после того как не побоялся и не постыдился дать в соперницы своей матери какую-то жалкую ничтожную рабу! Не забывай, Агенобарб, что я дочь Германика, сколько бы ни был ты мало достоин быть его внуком. Презренный трус! От кого только мог ты наследовать женственную склонность к изнеженному образу жизни, мелочность и бесхарактерность? Не от меня, без сомнения, а также и не от отца твоего. Жестокий, он был, однако ж, и мужествен, и неустрашим, и я не думаю, чтобы он не погнушался быть отцом такого несчастного поэта и жалкого певца, как ты.

Задетый за живое упреками матери и особенно ее глумлением над его талантами, перед которыми друзья его рабски преклонялись, Нерон, в свою очередь, вышел из себя.

– Какой бы я ни был, но тем не менее теперь я император, – вскричал он, – и я посоветовал бы помнить тем, кому вестать это не мешает, что бывали такие примеры, что если не матерям, то, по крайней мере, женам и сестрам цезарей приходилось остывать от излишнего пыла своей ярости среди утесов прохладных понтийских или гнарских берегов.

– И ты осмеливаешься, дерзкий, угрожать мне! – воскликнула Агриппина. – Мне, твоей матери, которой ты обязан всем, начиная с жизни и кончая тем, что ты теперь не бедный, ничтожный мальчишка, а властелин полумира!

– Ты назвала сейчас меня актером; но мне кажется, что скорее же ты актриса, хотя и довольно второстепенная, – насмешливо усмехаясь, заметил Нерон.

Агриппина вскочила.

– О боги, если только они существуют, пусть услышат меня, – воздев к небу руки, воскликнула она. – Им поручаю я воздать тебе сторицей за все твои обиды мне.

– Напрасны твои проклятия: призвать несчастья на мою голову они не в силах; у меня есть против них верный отворот – чудесный талисман. Вот он, взгляни.

И Нерон протянул к ней крошечную деревянную куклу – *iscuncula puellaris*, – очень таинственно как-то раз подаренную ему кем-то на улице с уверением, что этот талисман не только убережет его от всяких бед и напастей, но и будет ему отворотным средством против дурного глаза. Суеверный император верил слепо в чудесную силу этого амулета. Но Агриппина, взяв талисман в руки и еле удостоив его взглядом, с нескрываемым презрением отбросила его далеко от себя.

Нерон промолчал; но лицо его приняло при этом такой вид, что даже сама Агриппина испугалась и, убоявшись, не зашла ли она уж слишком далеко, поспешила заметить ему в тоне более примирительном:

– Зачем тебе этот амулет, если у тебя есть другой, лучше этого, который подарен тебе твоей матерью?

И говоря это, она взглядом указала ему на золотой змеевидный браслет, который он с детства носил на правой руке и в который была вделана кожа змеи. Об этой змее сложилось множество легенд и, между прочим, рассказывалось, будто ее застали ползающей вокруг колыбели Нерона; другие же к этому добавляли, будто змея эта была воплощенным добрым гением Нерона, спасшим его своим появлением у его колыбели от рук подосланных Мессалиною убийц, бежавших при виде змея. Но как бы то ни было, а дело в том, что тогда же Агриппина велела оправить кожу этой змеи в золото и драгоценные камни в виде браслета, и позднее, надевая этот браслет на руку сына, просила его никогда с ним не расставаться. И теперь, пока она смотрела так пристально на браслет, в чувствах ее к сыну произошла внезапная перемена. Не воскресил ли вид этого браслета перед ее духовным взором образ златокудрого ребенка с голубыми ясными глазами, ребенка, для которого мать была всем, который как в минуты детского горя, так и в минуты детской радости приходил лишь к ней и, обвившись вокруг ее шеи ручонками и положив головку ей на плечи, доверчиво и сладко засыпал у нее на груди? А теперь этот самый ребенок – император благодаря ее проискам и преступлениям – стоял перед ней, ненавидящий и ненавидимый со злой усмешкой на губах, с грозно нахмуренным лицом. А между тем этот сын, не он ли был единственным близким ей существом! Отец ее был убит, мать тоже, братья также погибли насильственной смертью, сестры умерли в позорном изгнании, – первого ее мужа давно не было в живых, два других умерли отравленные и притом ее же рукой; друзья и приверженцы были в тяжелой ссылке. Глубоко и широко зияла вокруг нее бездна ненависти и злобы – она это знала, как знала и то, что нет у нее во всем мире ни одного искренне преданного ей человека, кроме только двух-трех ничтожных вольноотпущенников. Все яснее и яснее сознавая свое страшное одиночество среди этого многолюдного дворца, она за последнее время начала было уже делать некоторые попытки снискать себе если не привязанность так жестоко обиженных ею Британника и Октавии, то хотя бы их прощение и некоторое снисхождение. В ней проснулась жалость к ним, обиженным ею. Но, увы! Ей скоро пришлось убедиться, что как для кроткой Октавии, так и для незлобивого Британника любить ее было свыше сил. Привязанность сына – вот единственное, что ей оставалось, а между тем она видела, что и он все дальше и дальше сторонился от нее с чувством очень близким к отращиванию и ненависти.

Все эти безотрадные мысли вихрем пронеслись в уме несчастной жертвы своего честолюбия, и, не находя сил совладать с припадком отчаяния, она залилась горькими слезами.

– Прости мне мою безумную вспышку, Нерон, – рыдая проговорила она, протягивая с мольбой к сыну руки. – Прости, тебя просит твоя мать. Как у меня, так ведь и у тебя, нет в мире никого, кто бы стоял к нам ближе, чем стоим мы друг к другу. Прости и дай мне еще раз почувствовать, что я еще не совсем утратила любовь моего сына, для которого жила, для которого готова и умереть.

Но эти слова матери очень мало тронули Нерона.

– Странно! То проклинаешь меня, то умоляешь и плачешь, – холодно заметил он ей. – Уж не думаешь ли, что один *только твой* амулет может предохранить меня от бешеных порывов твоей ярости! Сейчас надругалась ты над подаренным мне талисманом, а потому вот, смотри, как я дорожу твоим подарком. Никогда в жизни моей более не надену я его.

И, сняв с руки браслет, он со злостью швырнул его со всего размаху на пол.

– Вот он! Можешь взять его себе: он мне больше не нужен. – И после этого Нерон вышел из залы, не сказав матери ни одного слова на прощание.

Агриппина в первую минуту стояла как окаменелая, и только ноздри ее широко раздувались, да в глазах зажигался недобрый огонек. Слез же точно и не бывало.

– О обиженный Британник, о бедная Октавия! Разве нет возможности поправить сделанного вам зла? – вполголоса проговорила она. – Нет! Мщение за смерть Клавдия было бы их первым делом. Но ведь еще живы и Корнелий Сулла и Рубеллий Плавт. Что мне может поме-

шать, даже и теперь, смести с моей дороги – хотя он мне и сын – этого жалкого гаера и певца, а на его место возвести на престол цезарей того или другого из них!

И, подняв с полу браслет, она шепотом прибавила:

– Как он сказал, пусть так и будет; никогда не видать ему более и не носить этого талисмана.

Нерон, когда для него настал ужасный день его последних счетов с жизнью, тщетно старался найти этот амулет.



## Глава XIV

Рим становился и пылен и душен. Приближался сезон лихорадки. Утомленный придворными пирами и кутежами и не менее того своими беспрестанными пререканиями с матерью и бурными сценами с ней, Нерон прорывался на чистый воздух, на простор вольной загородной жизни, где бы он мог, вдали от стеснительного придворного этикета, отдаться всецело своим наклонностям к эстетическим наслаждениям.

На этот раз из всех своих роскошных вилл он выбрал для летней резиденции виллу, недавно приобретенную им в одном из наиболее диких и мрачных ущелий Симбруинского края Апеннинских гор. Как сама местность по живописности быстрых горных потоков, тенистых рощ, крутых обрывистых оврагов, скалистых склонов, так и здание виллы по легкости и изяществу своей архитектуры представляли нечто в полном смысле очаровательное. Стены виллы внутри были расписаны альфреско известнейшими мастерами жанровой живописи; в садах среди зелени богатой растительности белели чудные статуи, изваянные рукой таких великих скульпторов, как Пракситель и Мирон, лились фонтаны, журчали ручейки, шумели водопады, виднелись таинственные гроты, красовались причудливые храмы.

В первый раз отправлялся Нерон провести лето среди волшебной обстановки этого восхитительного уединения. Из Рима он двинулся, сопровождаемый блестящей свитой и целым полчищем рабов, из которых на многих лежала обязанность подавать императору с надлежащей бережностью его лиру или какой другой музыкальный инструмент.

Агриппина, снедаемая горем обманутых надежд и жаждой мести, отказалась наотрез от приглашения императора поехать с ним в его летнюю резиденцию, как ввиду оскорбительной формы самого приглашения, так и некоторых опасений с ее стороны разделить с ним уединение, в котором предвидела для себя лишь новые причины к неудовольствию и раздражению. Вместо этого она предпочла переехать на лето в свою собственную великолепную виллу Баулы, в Кампании, где за отсутствием другого, более серьезного дела рассчитывала заняться продолжением своих мемуаров, развлекаясь в часы досуга кормлением миног и долгоперов, прирученных до того, что они являлись на ее зов и брали корм из ее рук.

Менее счастливая в этом отношении, Октавия поневоле должна была сопровождать императора, своего мужа, который при всем своем желании оставить ее в Риме решил тем не менее взять ее с собой, чтобы не идти чересчур открыто против общественного мнения, требовавшего от него некоторых внешних знаков уважения к жене, как к императрице и дочери Клавдия. Но кортеж Октавии не отличался ни блеском, ни многочисленностью, состоя исключительно из небольшой части полагавшихся ей шестисот рабов. И того малочисленнее была свита Британника, приглашенного только потому, что оставить его в Риме на такое время года, когда Лабитиния требовала наибольшего числа жертв, могло бы показаться в высшей степени неблагоприятным; вдобавок же Нерон чувствовал себя даже спокойнее, зная, что он у него на глазах. Впрочем, Британник был совершенно счастлив, так как с ним был его друг Тит, отец которого Веспасиан, а также и мать Флавия Домицилла получили приглашение провести некоторое время в гостях у императора; знал он также, что и Пуденс в качестве центуриона преторианской гвардии, и Эпиктет, как раб секретаря Нерона, должны были необходимо войти в состав почетного конвоя императора.

Нерон, любивший, в особенности в первое время своего царствования, окружать себя более или менее образованными людьми, пригласил, кроме того, и Сенеку, Бурра и Лукиана, восходившую в то время звезду в мире поэтов, сатирика Персия, сатиры которого тогда еще хранились, на его счастье, под замком его письменного стола, и, кроме того, известного натуралиста этой эпохи Плиния Старшего. Однако, как ни старался Нерон уверить всех в своем пристрастии к литературе, трудно было не заметить, что настоящее удовольствие он находил

преимущественно или в беседах с циничным Петронием, или в фривольных разговорах с изящным ловеласом Отоном. Никем и ничем не стесняемый, молодой император вволю упивался чашей наслаждения среди чудной обстановки своей роскошной виллы, имевшей к тому же то преимущество, что, по счастливой случайности, она состояла из двух зданий, отделявшихся мостом через глубокий и широкий овраг, что представляло для Нерона возможность менее приятных ему гостей поместить в вилле Кастор, а между тем как сам он с избранными друзьями и приятелями поместился в вилле Полукс.

Обеды и ужины по большей части подавались в том и другом здании отдельно, и только изредка удостоивал Нерон приглашением к своему столу всех своих гостей без исключения. Император вообще очень любил возможно более разнообразить свои удовольствия и развлечения. То он упражнялся в плавании, то принимался удить рыбу, то по несколько часов сряду занимался музыкой под руководством известного арфиста того времени Терпноса, или же брал уроки пения у певца Диодора, приложившего немало стараний, трудясь над развитием и надлежащей постановкой того голоса, который уже было принято величать не иначе, как божественным или небесным.

Но мало-помалу Нерон и здесь стал тяготиться тем сравнительно небольшим декорумом, какой пока еще считал приличным соблюдать в своих кутежах ввиду присутствия некоторых гостей, более солидных, в вилле Кастор; хотя они были ему отчасти и нужны, как слушатели, перед которыми он мог обнаруживать свои дивные таланты певца и поэта. Но однажды во время одного из таких представлений, во время которого исполнение императора и как певца, и как арфиста, и как декламатора стихов собственного произведения вызвало со стороны большинства слушателей шумные рукоплескания и восторженные крики одобрения, случилось, что Нерон заметил как-то, что Веспасиан, пока небесный его голос выделял дивные трели и рулады, сначала стал понемногу дремать, а затем и совсем заснул, а потом – о ужас! – захрапел.

Взбешенный и уязвленный в своем самолюбии великого артиста, император решился уже было отдать приказ арестовать простодушного воина, как виновного в оскорблении величества, но друг его, изящный Петроний, перед которым Нерон не утерпел излить свое негодование, так от души посмеялся забавному инциденту и так остроумно осмеял неотесанного облома, что постепенно умиротворил разгневанного императора. Петроний посоветовал доставить сюда пантомима Алитура и актера Париса да несколько лишних красавиц рабынь для большего оживления роскошных пиров.

Совет Петрония пришелся по вкусу Нерону, и на следующий же день гости, находившиеся в вилле Кастор, получили весьма недвусмысленный намек, что воины, отдав цезарю долг благоговейного почтения, могут удалиться, куда кому из них угодно. При этом, по случаю отъезда Веспасиана, а с ним его жены и сына Тита, Британнику разрешено было отправиться вместе с ними, погостить некоторое время в скромной вилле Веспасиана.

– Там в среде этих неотесанных рохлей едва ли кто-нибудь станет вбивать ему в голову какие-либо несбыточные фантазии, – заметил при этом Нерон. – Пусть сидит себе на бобах да на свинине, может быть, и отупеет и станет таким же вислоухим неряхой, как и его друзья.

После отъезда Сенеки и Бурра, перед которыми Нерон все еще продолжал сохранять пока некоторого рода совесть, пиры и кутежи в вилле Полукс не замедлили принять характер настоящих оргий и вакханалий. Устраивались празднества и банкеты, неслыханные и по своей роскоши, и по причудливости всяких затей: нередко в садах при свете факелов, на потеху цезарю и его гостям, резвилась толпа нимф и наяд, плескаясь и ныряя с веселым смехом в водах искусственных озер; между деревьями виднелись фавны и сатиры, с дикими криками преследуя резвоногих гамадриад; из таинственных гротов неслись звуки музыки, смешиваясь с голосами хоров и услаждая слух все более и более хмелевшей компании, в то время как Парис и Алитур поочередно выбивались из сил, чтобы доставить императору то своими грязными пантомимами, то танцами новое эстетическое наслаждение. Но физическая сторона человека

не может безнаказанно брать верх над его духовной стороной: утомление, разочарование и в довершение полное отвращение к жизни – вот неизбежные результаты такого преобладания материи над духом.

Впрочем, от времени до времени на императора нападала прихоть заняться литературой, и тогда устраивались чтения, во время которых читались стихи и всевозможные пасквили, между прочим, был как-то прочтен, как самая последняя новость в области такого рода литературы, довольно грязный и пошлый пасквиль на обоготворение покойного императора Клавдия, слушая который Нерон смеялся до упаду, одинаково восхищенный и грубым издевательством над своим предшественником, и не менее грубой лестью самому себе. Но и среди всевозможных утех, какие только в силах был придумать ум праздный и избалованный, скука нередко томила как молодого амфитриона, так и его гостей. Однажды, под конец уже сезона, большинство гостей после утра, проведенного в чтении стихов Лукиана и самого императора, постепенно разошлось, и в зале с Нероном остались только Петроний и Тигеллин, да еще актер Парис.

– Скажи мне, Петроний, – обратился Нерон к своему фавориту, – какое твое мнение о поэтических произведениях Лукиана и Персия? Ты настоящий поэт и не можешь ошибиться в критике.

– Лукиан, по-моему, не столько поэт, сколько ритор, а что касается Персия, то он прежде всего стоик и моралист, – сказал Петроний. – Впрочем, ни тот, ни другой не лишены некоторых достоинств, хотя у обоих нет искусства сказать что-либо просто, оба искусственны, напыщенны, ужасно монотонны и страдают, в большей или меньшей степени, отсутствием всякой оригинальности.

– А твое мнение о моих стихах? – не утерпел спросить император, жаждавший похвалы.

– Цезарь не может не выказывать полного совершенства во всем, что он ни делает, – с привычной загадочной улыбкой сказал Петроний и, отвесив Нерону низкий поклон, ушел.

– О мой Парис! – обняв актера, воскликнул Нерон. – Только один ты и твоя участь достойны зависти. Артист, великий артист, ты вызываешь по своему желанию в зрителях то слезы, то смех, всегда доставляя им своей дивной игрой венец наслаждения, и очень часто, внимая шуму восторженных рукоплесканий, какими приветствуют уже одно твое появление на сцене, я чувствую, как овладевает мной безумное желание поменяться с тобой ролями и, уступив тебе мое место на престоле, занять твое, на театральных подмостках.

– Цезарю благоугодно тешиться над бедным мимом, – смущенно проговорил Парис и поспешил прибавить: – Если императору угодно, чтобы я позабавил его сегодня вечером после банкета, то пусть соблаговолит уволить меня теперь, чтобы дать мне время подготовиться вместе с Алитуром к предстоящему спектаклю.

Нерон остался наедине с Тигеллином. Он зевнул лениво.

– О боги, как невыносимо скучна эта жизнь! – проговорил он. – Впрочем, не стоит думать об этом, сегодня у нас в виду банкет с новыми затеями...

– После которого, достаточно разгоряченные вином, мы еще должны будем отправиться бродить по саду, где в поэтичном полумраке таинственных гротов и аллей цезаря ждет нового рода развлечение, придуманное, чтобы позабавить его, изобретательным Петронием и красавицей Криспиллой.

– Что такое?

– Пусть государь не требует от меня, чтобы я удовлетворил в данном случае его любопытство: от сюрприза удовольствие только выиграет.

– Хорошо, пусть будет по-твоему. Но, знаешь, жизнь наша здесь быстро близится к концу; а там опять этот несносный Рим, со своим сенатом, советами и необходимостью более или менее соблюдать некоторое приличие.

– Для цезаря такой необходимости не должно существовать. Он может поступать, как ему угодно. Кто же осмелится требовать у него отчета в его действиях и поступках?

– Да хоть бы та же Агриппина, моя матушка, если и никто другой.

– У цезаря может быть только одна причина опасаться Агриппины.

– Какая?

– Агриппина, как я уже докладывал цезарю, за последнее время проявляет необыкновенную внимательность к Британнику, сверх того, я имею некоторые основания думать, что она затевает возвести на престол или Рубеллия Плавта, или Суллу. Не так она еще стара, чтобы не думать более о замужестве; у этих же у обоих течет в жилах императорская кровь.

– Рубеллий Плавт! – изумился Нерон. – Не может быть: это мирный педант, и только. Что же касается Суллы, то этот ненасытный обжора не в состоянии думать ни о чем, кроме своего обеда.

– Это покажет нам время, – сказал Тигеллин, – но тем не менее, пока жив Британник...

– Договаривай.

– Пока жив Британник, положение Нерона непрочное.

Нерон ничего не ответил, но глубоко задумался.

Настал вечер, и императорский банкет, приготовленный на этот раз среди зеленого луга, окаймленного рядом деревьев, между которыми журча и шумя лились фонтаны, оказался и роскошнее и великолепнее, чем когда-либо. Закончив трапезу обычными обильными возлияниями Бахусу, гости с хозяином во главе отправились гулять по саду, где Нерон вскоре увидел приготовленный для него сюрприз. Сад был роскошно иллюминирован лампами, висевшими гирляндами между деревьями; в аллеях и гротах гремела музыка, чередовавшаяся с хорами, между тем как в бассейнах плескались наяды, а в рощах юноши в костюмах фавнов и сатиров с факелами в руках играли с молодыми девушками, изображавшими собой лесных нимф; увидав императора и его гостей, вся эта резвая молодежь бросилась им навстречу и, венчая их цветами, увлекла за собой: начались новые пляски и игры, новое пиршество с пением и возгласами, которым, как бы смеясь над тишиной ночи, вторило эхо.

## Глава XV

После отъезда более почетных гостей Нерона, в том числе Веспасиана с женой, общество которой было для Октавии, пренебрегаемой открыто мужем, большим утешением, юная императрица проводила большую часть своего времени в совершенном одиночестве. Нерон, который никогда не был влюблен в Октавию и женился на ней только по наущению и по приказанию Агриппины, старался всячески избегать жены и намеренно выказывал по отношению к ней самое высокомерное презрение, опасаясь каким-либо вниманием к ней дать повод думать, что он обязан престолом отчасти и своим брачным узам с дочерью Клавдия. Впрочем, и сама Октавия, зная по горькому опыту, какой лютый зверь скрывается под внешней привлекательностью молодого императора, не бывала никогда так счастлива, как в то время, когда могла оставаться подальше от него. Нерон замечал это и, привыкший вокруг себя видеть лишь робкое поклонение и слышать одну только лесть, нередко бесился в душе, не встречая в тех, кто составлял его семейный круг, ни тени чего-либо подобного. Ему было неприятно сознавать, что люди, знавшие его более интимно, насквозь понимают его настоящий характер. С откровенностью, доходившей почти до грубости, говорила ему, бывало, в лицо Агриппина, какой он человек, между тем как жена его с видимым брезгливым отвращением сторонилась от него, точно боясь прикосновением к нему осквернить себя. Все это вместе, раздражая Нерона, еще более усиливало его неприязненное чувство к жене, и, не имея в своем загородном местопребывании никаких причин соблюдать по отношению к ней хотя бы даже некоторую условную вежливость, он лишь в очень редких случаях переходил мост, отделявший занимаемую им виллу Полукс от виллы Кастор, где со своим скромным двором помещалась императрица, чтобы сделать ей формальный визит.

Оставаясь часто по целым дням подряд в однообразном одиночестве, молодая женщина для развлечения писала длинные письма к своему брату или же, позвав к себе кого-нибудь из прислужниц, просила ее читать вслух. Добрая от природы Октавия, испытывая сама всю горечь оскорблений, постоянно старалась быть кроткой и ласковой в обращении с рабами, которым никогда не приходилось терпеть от нее тех жестокостей и того тиранства, каким за малейшую небрежность или неловкость часто подвергались несчастные рабыни-прислужницы в роскошных будуарах жен и дочерей богатых патрициев. Благодаря этому императрица скоро снискала себе своим человеческим обхождением и любовь и полное доверие очень многих из своих рабынь. В числе подобных была раба-христианка Трифония, которая в своем доверии к ней дошла даже до того, что решилась признаться, что принадлежит к числу исповедниц новой веры. Отчасти уже несколько знакомая через Британника с новым учением, которое интересовало ее сильнее, чем она смела вслух признаться себе, Октавия после такого открытия нередко вступала с Трифонией в продолжительные беседы, в которых Трифония мало-помалу посвящала императрицу в религиозные догматы христианской церкви. Действие этих догматов было благотворно и отрадно влияло на наболевшее сердце Октавии, и особенно был утешителен догмат христианской веры о загробной жизни. Такого верования в язычестве не существовало, и хотя Цицерон, в своих «Тускуланских рассуждениях», кое-что приводил в доказательство истины учения о бессмертии души, однако не он ли сам во многих из своих писем и речей отзывался о такой доктрине не более, как о простой, хотя и не лишенной приятности, гипотезе, могущей служить небезынтересной темой различных толкований и споров, но серьезно верить в которую нельзя; а для последователей учения Христа вера в загробную жизнь, напротив, была одна из важнейших догматов. Для них Предвечный был, хотя и невидимый, вездесущ, и бессмертие души представлялось им не чем-то будущим, а скорее было известным состоянием, сознаваемым ими и как бы уже вкушаемым даже и по эту сторону могилы; все временное было в их глазах не более как призраком, и только вечное действительностью.

А пока Октавия незаметно таким образом шла вперед в своем религиозном образовании, Британник проводил мирно время, наслаждаясь тихой и вольной деревенской жизнью в скромной усадьбе Веспасиана, представлявшей по своей простоте приятный контраст с роскошью и великолепием палатинского дворца. Тут, среди сельского приволья, окруженный простыми земледельцами-поселянами, немногим выше которых по простоте жизни были и сами члены семьи Веспасиана, он мог вволю бродить, не думая ни о своем высоком сане, ни о каком-либо этикете, по лесам и холмам охотиться на зверя или на птицу, или же удить рыбу. Кроме Тита неразлучными его спутниками были еще и два двоюродных брата последнего Флавий Сабин и Флавий Климент, с которыми Британник очень скоро подружился. Иногда к ним присоединялся и младший брат Тита – Домициан. Но к нему Британник с первого же раза почувствовал сильную антипатию, заметив в нем и склонность к лживости и признаки хитрости.

Сам Веспасиан очень любил свой мирный сельский уголок, где ему дышалось несравненно легче, чем в приемной зале у Нерона, и где он любил похвалиться образцовым порядком своего хозяйства. Не стыдясь несколько незнатности своего происхождения, он любил рассказывать в дружеском кружке, как дед его простым земледельцем поселился во время междоусобиц Мария и Суллы в Реате, где женился вскоре на простой девушке-сабинке; всегда с восторгом ставил в образец старинных римских диктаторов вроде Цинцинната или Фабриция, а равно и их простой образ жизни, и сам никогда не упускал случая щегольнуть своими лошадьми и коровами, огородом и тучными нивами, и даже курятником своей жены Домициллы. Ему было любо, что дом его представлял полную чашу простых деревенских продуктов, и с радующим гостеприимного хозяина любил угощать гостей густым молоком, свежими яйцами, румяными лепешками, душистым медом и всякими плодами своего сада и овощами своего огорода, составлявшими обычные кушанья в его доме. Кто бы мог тогда подумать, смотря на Веспасиана и его семью, состоявшую из жены, двух сыновей, дочери и двух племянников, среди этой более чем скромной, обстановки, что видит перед собой трех будущих римских императоров и двух консулов, из которых только одному была суждена мирная смерть; или что из этих пяти юношей – Тита, Британника, Домициана, Климента и Сабина – четверым предстояло погибнуть жертвами насильственной смерти, а одному принять венец мученичества. Но грядущее по воле всемиростивого Провидения, к счастью для человека, сокрыто от него во мраке глубокой ночи.

Среди этой молодежи только один Веспасиан был в состоянии, по зрелости своих лет, оценить вполне счастье хоть на время удалиться от интриг и крамол римской придворной жизни, клокотавшей, как взбаламученное море, и обдавшей всех и все своими грязными волнами. Он видел на своем веку, как переходили бразды правления из рук сумасшедшего Калигулы в руки слабоумного Клавдия, и знал, что предшественником этих двух императоров был Тиберий, а их преемником Нерон. Не забывая предсказаний, предвещавших ему блестящую судьбу, он вместе с тем никогда не позволял себе мечтать, что взойдет на престол, и никогда не думал кончить свою жизнь основанием, как оказалось, новой династии. Напротив, – как в самом себе, так и в своих сыновьях он всегда старался заглушить всякое суетное тщеславие в самом его зародыше. Так, заметив как-то, с каким увлечением восхищалась его молодежь величием всяких громких подвигов, он поспешил остановить их восторги.

– Остерегайтесь поддаваться честолюбивым желаниям, дети, – заметил он, – поверьте мне, что ни титул императора, ни вид вашего изображения на монетах не могут доставить вам большего счастья, чем то, каким пользуетесь вы теперь, безмятежно проводя дни среди мирной деревенской жизни.

– Да, это совершенно верно, – вздыхая сказал Британник, – было же ведь когда-то и мое изображение выбито на монетах, а между тем могу ли я сказать, что находил себя от этого счастливее?

– Во всяком случае, ты счастлив уже никак не менее Нерона, – заметил ему Тит, – и я готов держать пари, что все его пиршества в его роскошной вилле не в состоянии доставить ему такого удовольствия, какое обещает нам дать наша завтрашняя охота на кабанов.

– Возьми-ка лучше Горациевы Еподы, Климент, а не то – Вергилиевы Георгики, и вслух почитай нам их, пока я займусь с мальчиками изготовлением снарядов для предстоящей облавы на дикого зверя.

В доме Веспасиана ложились обыкновенно довольно рано: он был человек тогда еще небогатый, и жечь без расчета масло, которое в то время было недешево, было ему не по средствам. Но, прежде чем заснуть, молодые люди, бывало, часто подолгу между собой беседовали, рассказывая друг другу свои планы и мечты, обыкновенное дело между молодыми товарищами и друзьями. При этом они нередко касались в своих разговорах и христиан. Но Тит таких разговоров не любил, уверяя, что все эти христиане не более как сумасбродные фанатики, о которых и говорить не стоит. Всего же больше любил он говорить об иудеях: он был с отцом в Палестине, где ему представился случай видеть Агриппу и где увлекся даже юношеской восторженной любовью к красавице Веренике; да еще об учении стоиков, с которым был отчасти знаком благодаря частым беседам с Эпиктетом, причем нередко горячился и выходил из себя, стараясь доказать, что истинно мудрый человек сумеет быть счастливым везде, где бы он ни был, хотя бы даже внутри фаларисского быка, в ответ на что Британник, к немалому негодованию своего друга, часто просил его ответить ему, очень ли счастлив бывает Музоний, когда у него болят зубы.

Но зато в Клименте Британник скоро нашел не только внимательного слушателя его разговоров о христианах, но еще человека, знавшего о них, как очень скоро обнаружилось, гораздо больше, чем он сам знал.

– Уж не христианин ли ты, Климент? – спросил его после одного из таких разговоров Британник, выбрав минуту, когда остался наедине с новым своим другом.

– Нет; я еще пока не принял крещения, – ответил Климент, – настоящий же христианин только тот, кто присоединен к Христовой церкви таинством крещения.

– Крещение!.. А что такое крещение?

– Крещение – это очищение от грехов с помощью молитвы и освященной воды, – объяснил Климент. – Насколько в наших римских языческих обрядах все торжественно и сложно, настолько все это просто у христиан: вода служит у них символом очищения, хлеб и вино – эти два предмета самой обыкновенной житейской надобности – символом воспоминания о пострадавшем за человечество Христе.

– А старшины у этих христиан – пресвитеры, как они их называют – такие же, как наши жрецы?

– О нет, вовсе не такие, – сказал Климент. – Пресвитеры, люди простые и непорочные, скорее походят на лучших из наших философов, хотя своими познаниями, может быть, и уступают последним.

Но в это время в комнату, где беседовали друзья, вошел Домициан, которому ни тот ни другой из них особенно не доверял, и оба поспешили прекратить этот разговор.

В таких занятиях и беседах незаметно проходило время, и скоро пришел конец мирным и счастливым дням в Реате: ноябрь был уже в конце, и надо было, покинув фалакринские поля и леса, вернуться в шумный и суетный Рим.

## Глава XVI

Мы оставили Онезима в его темной келье, где, связанный по ногам и рукам, он ждал предстоящего ему наказания. Здесь, наедине с самим собой, он оглянулся невольно на свое прошлое, и ужаснулся, увидав, как он низко пал, увлеченный своеволием и малодушным потворством жажде наслаждения, по скользкому пути порока и зла. С сожалением вспомнил он о счастливых и мирных днях, проведенных им в доме Филемона, где на него смотрели скорее как на родного брата, чем как на раба. Не поддайся он своей роковой жажде удовольствий, по всей вероятности, он был бы теперь уже вольноотпущенником и во всяком случае мог бы быть счастлив той духовной независимостью, какую не раз замечал в тех, которых учение Христа сделало людьми истинно свободными, тогда как теперь он по своим поступкам стоял наравне с худшими из худших.

Не сообщить Пуденсу о посягательстве Онезима Нирэй не мог, и Пуденс немало был обижен на несчастного юношу, которого успел искренно полюбить и в котором никогда не подозревал ничего подобного. Но такую вину оставить без наказания было бы несправедливо, и Онезима приговорили к нескольким ударам плетью и семидневному одиночному заключению. Жестоким испытанием были для юноши, при его пылкой и впечатлительной природе, как скука одиночного заключения, так и позор наказания; но и то и другое оказало на него самое благотворное действие, заставив его одуматься и искренно пожелать вернуться на путь добра и правды. В продолжение его заключения Нирэй, а также и сам Пуденс, не раз навестили узника, стараясь участливым словом и вразумлением пробудить в нем чистосердечное раскаяние и спасти его путем этого от полного нравственного падения. Но всего сильнее действовало на Онезима бодрящее слово кроткой Юнии, которая однажды, подойдя к запертой его келье, долго через дверь беседовала с ним в духе христианского учения и просила его не падать духом, а постараться хорошим поведением исправить прошлое.

Высидев определенный срок заключения, Онезим получил прощение и снова вступил в отправление своих обязанностей в доме Пуденса, но теперь уже с более твердым, как ему казалось, намерением бороться мужественно с искушением.

Тем временем Нерон, по возвращении из виллы Полукс в Рим, заметно стал все теснее и теснее сближаться с Отоном, своим злым гением. Напрасно пыталась Агриппина вразумить сына и заставить его не выходить из рамок, по крайней мере, тех внешних приличий, какие налагало на него его высокое положение императора; не менее были тщетны и всякие напоминания как Сенеки, так и Бурра в том же смысле. Нерон выбрал себе в образцы Отона, — Отона, олицетворявшего собой для одной половины римского населения тот идеал, достичь которого она сама сильно желала. Все его низкие инстинкты: склонности к дурным шалостям и неге, жажда причудливого, невозможного, извращенные и низкие чувства плохого актера, — все это крепло в нем и росло в дружеском общении с Отоном. К крайнему несчастью страны, обоготворяемый царек этот вдобавок был полновластным хозяином и государственной казны, из которой, несмотря на существовавшее в теории различие между частными императорскими суммами и общественными деньгами, не стесняясь черпал, сколько, по его личному усмотрению, было ему нужно, чем способствовал немало истощению как самой Италии, так и подвластных ей провинций. Никогда цена, какой покупалась та или другая из его прихотей, не могла остановить его безумных фантазий. Мальчишка, и надо добавить еще дрянной мальчишка, Нерон был властелином полумира и нередко забавлялся такими пошлыми проделками, как, например, находясь где-нибудь в глубине сцены, хватал актеров за уши или бросал в зритель всякой дрянью.

Возвращение императора из загородной его виллы в палатинский дворец было вскоре отпраздновано соответственным радостному случаю торжеством, — пышным пиром в роскош-



ном триклиниуме цезаря, – банкетом, за которым новинкой было опрыскивание гостей во время ужина дорогими благоуханиями. Такое дорогое нововведение подало Отону мысль превзойти в роскоши своего друга императора, и хотя и так уже был он по горло в долгах, однако не прошло много времени, как он устроил у себя невиданный по своему великолепию ужин, на который пригласил и Нерона.

Здесь было всего только девять человек пировавших, считая в этом числе и самого хозяина дома; были Нерон и законодатель моды Петроний; был жалкий паразит Тигеллин; актер Парис, приглашенный как ради своего остроумия, так и ради красоты; Ватиний, один из забавнейших шутов той эпохи, бывший претор Клавдий Поллий, Педаний Секунд, префект Рима, и Октавий Сагитта, народный трибун: этих троих очень любил Нерон за их кутежи и, вообще, распутный образ жизни.

В роскошном триклиниуме, убранном по последней моде и в изобилии уставленном, несмотря на зимнее время, розами и другими дорогими цветами и растениями, был сервирован ужин, перед изысканностью которого бледнел даже пресловутый банкет Трималциона. Каждое блюдо за этим ужином представляло то или другое, самое изысканное и дорогое, гастрономическое лакомство: устрицы были из Ришбора, морская рыба из садков одного богатого патриция, пожертвовавшего ей на съедение не одним, как рассказывали, рабом, имевшим несчастье вызвать его гнев; миноги привезены были из Тавроминий, сыры из Сарсины. Словом, тут было все, даже мозги попугаев, и фламинго, и соловьиные языки, все, что только могло удовлетворить избалованному вкусу самого прихотливого и тонкого гастронома. Не забыты были горячие с пылу шампиньоны, которые от времени до времени подавались за ужином гостям, и которые они глотали попеременно с кусочками льда для облегчения пресыщенного желудка.

Но более всего поразила гостей новая выдумка расточительности и неги, собственно путем которой Отон и хотел превзойти самого Нерона. Она заключалась в том, что девушки-рабыни, прислуживавшие за ужином, разували по временам гостей и погружали их ноги в золотые сосуды, наполненные дорогой восточной эссенцией; невиданная роскошь привела в невыразимый восторг этих людей, утопавших в неге и в глазах которых необузданное чревоугодие и прихоть были единственным, чем они могли приблизиться к богам.

По окончании ужина веселой компанией решено было единогласно в эту ночь познакомиться Нерона с развлечением нового рода, и с этой целью его уговорили надеть платье простого гражданина и последовать примеру некоторых сорванцов-буянов, имевших обыкновение целой ватагой бродить по ночам по улицам столицы и учинять всякие безобразия и бесчинства. Таким образом вечер этот сделался одним из достопамятных вечеров властвования Нерона, сделав начало тем безобразным ночным похождениям императора, которые вызвали против него столько справедливого негодования и с тем одновременно презрения в сердцах всех честных римлян.

Но прежде чем коснуться в нашем рассказе ночных приключений Нерона, не мешает вкратце упомянуть о маленьком случае до ужина, по своим последствиям имевшем весьма большое влияние на судьбу как некоторых, очень близких к Нерону лиц, так и подвластных империи народов. В этот вечер император увидал впервые жену Отона – Поппею Сабину.

Любя очень искренно свою жену, Отон однако ж не сумел воздержаться, чтобы не похвастаться перед Нероном красотой Поппеи, которой очень гордился, как первой красавицей и одной из самых гордых женщин в Риме; хотя, с другой стороны, хорошо зная легко воспламеняющуюся натуру цезаря, а также и честолюбивые мечты своей обворожительной супруги, он делал все от него зависевшее, чтобы только устранить свидание между своей женой и Нероном, что до сих пор ему действительно и удавалось. Но, наконец, Нерон в этот вечер благодаря желанию самой Поппеи увидал ее, и увидал в полном блеске ее изумительных чар.

Угадав причину, заставлявшую Отона так упорно лишать ее всякого случая видеть императора, Пoppея, под влиянием соблазнительной мечты покорить сердце Нерона и сделаться императрицей, на этот раз решилаcь перехитрить мужа.

– Сегодня вечером ты устраиваешь у себя ужин, мой милый Отон, – выбрав удобную минуту, обратилась она к мужу в день пира, – ты пригласил императора, как я слышала, и намерен затмить все, что видел до сих пор Рим по части великолепия, изящества и тонкой гастрономии.

– Да, да, Пoppея, все это совершенная правда, – небрежно проговорил Отон. – И хотя я и сам по части понимания всего прекрасного считаюcь первым знатоком в Риме, очень рад последовать совету и очаровательной Пoppеи, так как уверен, что мой пир от этого только выиграет.

– Все это прекрасно; но скажи, не следовало бы твоей жене, которую тебе угодно величать красавицей, самой приветствовать властительного гостя у себя в доме? Не окажется ли явным невниманием к цезарю, если хозяйка дома не потрудится встретить его на пороге. Неужели же ты полагаешь, что он останется доволен и тем, что «Ave, Caesar» прокричит ему в своей позолоченной клетке твой попугай, которого, по твоему приказанию, поместили над входом в атриум.

– Моя Пoppея обворожительно прекрасна, а Нерон – Нерон, – сказал Отон. – Разве только ты хочешь, ради удовольствия доставить близорукому юноше, претенденту, может быть, на твое сердце, случай рассмотреть тебя поближе, поставив на карту драгоценную жизнь последнего отпрыска благородной фамилии Сальвиев.

Сердито нахмутив свои хорошенькие тонкие брови, Пoppея капризно отвернулась от мужа и проговорила с видом оскорбленной невинности:

– Я, кажется, до сих пор еще не давала тебе повода ревновать меня и считаю потому себя вправе требовать от тебя, чтобы ты не смел думать обо мне, благородной матроне, всему Риму известной своим благочестием и строгой добродетелью, так же низко, как о какой-нибудь Юлии или Агрипп... то есть я хочу сказать Мессалине.

– Оставь этот трагический тон, моя прелестная Пoppея; в нем нет ни малейшей надобности. Сегодня у меня просто холостая пирушка, на которой присутствие моей жены было бы совершенно излишне; но я обещаю доставить тебе случай, когда мы пригласим к себе всю римскую знать, жен и дочерей благороднейших патрициев, сказать под их охраной свое приветствие Нерону. Сегодня же, чтобы собрать кружок гостей, приятный для Нерона, я был вынужден пригласить таких лиц, знакомить с которыми мою Пoppею я вовсе бы не желал; да вдобавок же и ты сама, я уверен, не пожелала бы унижить себя разговором с каким-нибудь Ватинием или Парисом, уже не говоря о каком-нибудь Тигеллине или развратном Сагитте.

– Да я и не нахожу для себя никакой надобности не только вступать в разговор с тем или другим из остальных твоих гостей, но даже и видеть их, – сказала Пoppея. – Но как твоя жена и хозяйка дома, я имею, кажется, право просить тебя, чтобы ты разрешил мне, при приближении к нашему дому золоченых носилок с их пурпуровым шатром, выйти на несколько минут в вестибюль и сказать Нерону, что Пoppея Сабина приветствует у себя желанным гостем друга, своего мужа и властелина и благодарит императора за высокую честь, оказываемую ей и ее мужу его августейшим посещением их скромного жилища.

– Ну, очевидно, с тобой не сговориться: будь по-твоему, Пoppея, – махнув рукой и вздохнув, согласился Отон. – Знает ведь превосходно моя Пoppея, что отказать ей в чем-либо у меня никогда не хватает духу, и чем видеть слезы в этих очаровательных глазках, а на этих прелестных губках выражение гнева против твоего Отона, я, право, скорее готов совсем отменить этот ужин.

Таким образом, когда к Отону прибыл император, он был встречен Пoppеей, сумевшей, как ни коротко было это свидание, явиться перед цезарем во всей своей прелести обольсти-

тельной чародейки. Очарованный сколько ее красотой, столько же и пленительной скромностью, Нерон, как околдованный, остановился перед ней в немом восхищении и долго был не в силах оторвать взора от робко-застенчивого и одновременно с тем как бы ласкающего взгляда ее темно-голубых очей. Но, наконец, он очнулся и, не сказав ни слова, как отуманенный, прошел в триклиний, где первое же слово, сказанное им своему амфитриону, так и резануло по сердцу последнего как острым ножом.

– О, как бесконечно ты счастливее меня, Отон, – сказал он ему. – Твоя жена – обворожительнейшая женщина во всем Риме, в то время как моя – самая холодная и наименее привлекательная из всех женщин!

– Цезарь напрасно отзывается так неблагоприятно об императрице Октавии, прекрасной в такой же мере, насколько она великодушна и благородна, – проговорил Отон, стараясь скрыть под спокойным тоном речи возникший в сердце страх.

Долго еще не мог прийти в себя Нерон настолько, чтобы воздать должную дань удивления великолепнейшему пиру своего царствования, и только после того, как он написал, потребовав свои дощечки, несколько слов Поппее, немного, по-видимому, успокоился.

– Я благодарю твою прелестную жену за прекрасное угощение, – сказал он Отону, передавая дощечки своему вольноотпущеннику Дорифору, приказав ему вручить их хозяйке дома.

На самом деле он просил Поппею выйти к нему во время пира в веридариум, куда, выбрав первую удобную минуту, и сам скоро вышел под предлогом освежить голову. Как и при первом своем свидании с Нероном, так и при встрече с ним в веридариуме, Поппея оказалась олицетворением женской скромности и застенчивости, и с этой минуты Нерон решил так или иначе удалить с этой дороги друга Отона.

Но свидание с Поппеей было не единственным приключением этого вечера, полного такими прискорбными последствиями. По окончании пиршества Отон и его гости уговорили Нерона отправиться вместе с ними, в костюме простого гражданина и с маской на лице, буанить и бесчинствовать на улицах Велабрума и Субуры.

Не совсем, однако, благополучно окончилась на этот раз безумная затея полупьяной компании. Подходя к Мильвианскому мосту, буяны наткнулись на центуриона Пуденса, который шел им навстречу в сопровождении Онезима, несшего фонарь, и Нирэя с Юнией, следовавших за ним на некотором расстоянии. Пропустив, не затронув, Пуденса, который показался при слабом свете фонаря малым довольно здоровенным, чтобы не без успеха отразить нападение, буяны кинулись на Юнию.

– К чему это покрывало ночью, прелестная дева? – воскликнул Отон. – Дайте сюда фонарь, чтобы можно было лучше рассмотреть личико этой красавицы, молодое и миловидное, по всей вероятности.

И, говоря это, он было уже схватил полу длинного покрывала, чтобы сорвать его с лица девушки, как вдруг Нирэй со всех сил ударил его палкой по руке. В это время, в свою очередь, к девушке приблизился император и, смелый ввиду многочисленности своих товарищей, крайне бесцеремонно схватил ее за плечо.

– Если молодые девушки-рабыни в своей милой застенчивости так пугливы, то самое верное средство приручить их, – это покачать на плаще, – сказал Нерон. – Что скажете, друзья, на мое предложение? Это будет развлечение совсем нового рода.

– Скоты! – закричал Пуденс. – Скоты, а уж никак не римляне, кто бы вы там ни были! Стыдитесь оскорблять скромную девушку, будь она и раба. Отойдите, а не то берегитесь.

Но Нерон, разгоряченный вином и подстрекаемый ни на шаг не отходившими от него Сагиттой и Поллием, не прекращал попыток сорвать с Юнии покрывало и оттащить ее от Нирэя, за руку которого ухватилась молодая девушка, как вдруг был сбит с ног толчком мощной руки Пуденса и, упав, ударился лицом о стену. Но в эту минуту с лица Нерона свалилась маска, и Пуденс, узнав, к великому ужасу, императора, понял всю опасность своего положе-

ния. Оставалась одна надежда, что император в темноте не узнал его, а потому он поспешил нагнуться к Онезиму и шепнуть на ухо скорее загасить фонарь, а если возможно, то и фонари противников. Фригиец оказался на высоте поручения. С проворством обезьяны набросился он сначала на Петрония и, неожиданно напав, вышиб у него из рук фонарь, который при падении на каменную мостовую разбился и погас, затем смело он ударил палкой по руке несчастного Париса, и этим заставил и его выронить фонарь. После этого, скрыв собственный фонарь под полкой своего плаща, он схватил Юнию за руку и, сказав Нирэю и Пуденсу, чтобы они не отставали от него, повел их кратчайшей дорогой домой, между тем как буяны продолжали суетиться около Нерона, стараясь унять кровь, которая текла у него из носа и со лба.

Таково было не совсем удачное начало ночных походов Нерона, – походов, составлявших долгое время одно из любимейших его развлечений и с течением времени вызвавших немало зависти и злобы к нему в сердцах римлян.

К счастью, Нерон не узнал в темноте Пуденса, а тот, явившись на следующее утро во дворец, несомненно, остерегался поглядывать слишком пристально на ссадину на лбу императора и на его подбитый глаз.

## Глава XVII

Совсем иначе провел памятный и роковой вечер во время Отонова ужина юный Британник. Не имея среди обширного и многолюдного дворца почти никого, кто бы был ему предан, он нередко оставался у себя в полном одиночестве в тех случаях, если почему-либо не мог быть в обществе своих друзей, Тита, Эпиктета или Пуденса. Правда, изредка навещал его Бурр и всегда был с ним обходителен и ласков; но Бурру Британник не мог простить его участия в заговоре Агриппины; заходил иногда и Сенека, желавший, очевидно, облегчить юноше его печальную участь, но Британник, видя в нем приверженца и наставника Нерона, не мог победить в себе чувства недоверия к этому человеку и в его участии видел лишь одно притворство. Одно случайное открытие усилило еще более в нем такое неприязненное чувство к Сенеке. Позванный Нероном в достопамятный день Отонова ужина, Британник явился к нему в кабинет прежде, чем пришел туда сам император, и на столе увидел случайно экземпляр пасквиля «*Ludus de morte Claudii Caesaris*», о существовании которого даже и не подозревал. Заинтересованный, он взял свиток и стал его читать; но чем далее он углублялся в чтение пошлого памфлета, тем все сильнее и сильнее бушевали в его душе гнев, злоба и бесконечное негодование. Его отец был почтен торжественной погребальной церемонией; декретом сената был причислен к сонму олимпийских богов; в честь его был воздвигнут в Риме великолепный храм, где особо назначенные жрецы и жрицы служили ему, воздавали божеские почести. Он понимал, что, конечно, на все это можно было смотреть не более как на условную формальность, но все-таки такое явное издевательство над религиозными понятиями римлян, такое наглое сопоставление Клавдия с двумя известными идиотами, такие насмешки над его забывчивостью и даже физическими недостатками, такое описание недоумения олимпийских богов, будто бы не смогших при виде представшего перед ними Клавдия решить вопрос, видят ли они перед собой божество, или человека, или же морское чудовище – все это ему казалось верхом лицемерия и гнусной подлости. Много ли прошло времени с тех пор, как на его глазах римляне, раболепствуя перед его покойным отцом, были готовы целовать ему ноги, как сам Сенека в громких напыщенных фразах прославлял его, величая земным божеством; теперь же, в этом самом дворце, – и где же? на столе его приемного сына и преемника лежит гнусный пасквиль, полный чудовищного злословия! И кто же, как не тот же льстивый Сенека, автор памфлета, очевидно, написанного в угоду новому цезарю? – подумал Британник, и озлобление против клеветы Агриппины и друга Нерона закипело в нем с новой силой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.